

Утехи и дни. Марсель Пруст, Анатоль Франс

Перевод с французского

ТАРАХОВСКОЙ и Г. ОРЛОВСКОЙ

МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • 2000 ЛЕТНИЙ САД

Публикуется по изданию: Пруст М. Утехи и дни *Под ред. Е. Ланна. Л.: Мысль, 1927.р>*

Предисловие к первому французскому изданию

Почему он попросил меня рекомендовать его книгу вниманию любопытных читателей? И почему я обещал ему взять на себя этот чрезвычайно приятный, но бесполезный труд? Его книга подобна юному лицу, преисполненному редкого очарования и изысканной прелести. Она сама рекомендует себя, сама за себя говорит и, не желая того, сама предлагает себя читателю.

Несомненно, книга эта молода. Она молода молодостью автора. Но в то же время она стара старостью мира. Это весна листьев на древних ветвях столетнего леса. Кажется, будто новые побеги хранят печаль вековых лесов и носят траур по бесчисленным умершим вёснам. Важный Гесиод посвятил пастухам из Геликона, пасшим коз, свои «Труды и Дни». Если, как утверждает английский государственный муж, жизнь может быть сносной без утех, — то и тогда книга «Утехи и Дни», посвященная светским людям — мужчинам и женщинам, — все же была бы печальнее «Трудов и Дней». И в книге нашего юного друга мы найдем усталые улыбки и утомленные позы, не лишённые, однако, ни красоты, ни благородства. Но в сочетании с необычайной наблюдательностью, гибкостью, пронизательностью и подлинной тонкостью ума печаль этой книги в том виде, в каком она дана автором, покажется читателю приятной и разнообразной. Этот календарь Утех и Дней отмечает прекрасными изображениями неба, моря и лесов — дни природы, и точными портретами и законченными жанровыми картинами — дни человека.

Марсель Пруст с одинаковым удовольствием описывает наскучившее великолепие заходящего солнца и суетное тщеславие сноба. Мастерски он изображает изящные горести и надуманные страдания, не уступающие, по крайней мере в своей жестокости, страданиям, которыми с материнской расточительностью наделяет нас природа. Я должен сознаться, что эти надуманные страдания, эти найденные человеческим гением горести — горести, созданные искусством, — кажутся мне бесконечно интересными и ценными, и я благодарен Марселю Прусту за то, что он изучил, с большим вкусом отобрал и описал несколько таких переживаний.

Он заманивает нас в тепличную атмосферу и держит там среди мудрых орхидей, чья странная и болезненная краса не вскормлена земными соками. Внезапно в насыщенном и восхитительном воздухе пролетает светящаяся стрела, молния, пронзающая тело, как луч немецкого доктора. А одной стрелой поэт проникает в глубину сокровенной мысли, невысказанного желания. В этом его манера и его мастерство. Делает он это с удивительной для такого молодого стрелка уверенностью. Он вовсе не невинен. Но в нем столько искренности и прямоты, что благодаря этому он кажется наивным и таким нравится нам. Он напоминает развращенного Бернардена де Сен-Пьера и наивного Петрония.

Счастливая книга! Она пройдет по городу, разукрашенная, благоухающая цветами, которыми осыпала ее Мадлен Лемер, расточающая своей божественной рукой и розы и росы.

Анатоль Франс <1896>

Предисловие к первому русскому изданию

Мы как будто знаем современную литературную Францию. Переведены сотни книг современных французских мастеров, за истекшие несколько лет мы узнали десятки новых крупных имен. Мы следим за французской литературой сегодняшнего дня с большим вниманием, чем в дореволюционные годы; по статьям наших критиков и заметкам рецензентов мы знаем кривую ее послевоенного развития.

И, однако, наша осведомленность весьма относительна — до сих пор мы не знаем Пруста! А ведь по неполным данным, имеющимся у нас, о Прусте с 1919 года во Франции написано сто пятьдесят пять статей и очерков, о нем издана монография, а в Англии, Америке (США), Германии, Бельгии и Швеции появилось восемнадцать очерков, не считая тех девяти, что были помещены в специальном номере «Nouvelle Revue Française», посвященном памяти Пруста и подписаны были именами английских критиков.

Не всегда показательны цифровые данные, но в этом случае их убедительность сомнений не вызывает: Марсель Пруст — крупнейшее явление французской литературы, явление настолько значительное, что с выпадением Пруста из нашего поля зрения искажается для нас лицо сегодняшней литературной Франции. Подчеркивая принадлежность Пруста сегодняшнему дню, мы имеем в виду не только влияние Пруста на молодых французских романистов (Eugene Monfort в «Les Marges» за август 1924 г. останавливается на этом влиянии). Хотя Пруст умер в 1922 году — и по сей день ещё не закончен печатанием основной труд его жизни — роман «A la recherche du temps perdu» («В поисках утраченного времени»), роман, который Пруст вначале хотел назвать «Содом и Гоморра», а затем, изменив это первоначальное решение, озаглавил «Содом и Гоморра» пятую часть своего романа — в три тома. Этот многотомный роман (редактирование которого взял на себя после смерти Пруста Jacques Riviere, умерший совсем недавно) ещё и в наши дни целиком не опубликован (ныне последнюю часть романа «Le temps retrouve» — «Обретенное время» — редактирует Робер Пруст, брат писателя), и тем самым Пруст остался в «сегодняшнем дне» не только в силу своего влияния на молодых писателей Франции.

«A la recherche du temps perdu» — стержень творчества Пруста, и, разумеется, рамки настоящего предисловия не позволяют остановиться на этом романе, архитекtonика которого, по мнению некоторых французских критиков, напоминает дантову «Божественную комедию». Когда русский читатель познакомится с трудом всей жизни Пруста — неизвестно, ибо в романе — не меньше 15 книг. Но тем более необходимо познакомить читателя с предлагаемой книгой «Les plaisirs et les jours», которой Пруст дебютировал; в «Утехах и днях», изданной в 1896 г. с предисловием Франса, иллюстрациями Мадлен Лемер и четырьмя этюдами для фортепьяно Рейнальдо Гана, уже

предошущается зрелый Пруст.

Писателю было двадцать пять лет, когда он издал свой первый сборник рассказов. Родился Пруст в июле 1871 года. Отец его был француз — видный профессор-медик, мать — еврейка, урожденная Вейль, из богатой буржуазной семьи. Воспитывался Пруст вначале дома, а затем был отдан в лицей Condorcet, где многим был обязан своему профессору риторики Дарлю; влияние последнего сказалось в любви Пруста к занятиям по философии и привело его к бергсоцианству. Вопреки желанию отца, предназначавшего сына для карьеры дипломатической, Пруст дипломатом не стал. После окончания лицея он поступил в Сорбонну на юридический факультет и, окончив его, пробыл месяц в конторе адвоката, пытаясь убедить себя, что лучшая для него профессия — спокойная работа нотариуса. Юридические науки нисколько Пруста не интересовали, но на этих поисках «спокойной» профессии нотариуса сказалось влияние той мучительной болезни, которая позволила писателю дожить до пятидесяти лет только благодаря исключительной его сопротивляемости физическим страданиям.

Болезнь эта — астма. Первый ее приступ у Пруста был, когда ему исполнилось девять лет, и с той поры до самой смерти своей писатель был «обреченным» — рисковал задохнуться с первым же ее приступом, ибо астма у него была в крайне тяжелой форме. Жизненный путь Пруста трагичен, и едва ли не сознание, что болезнь его смертельна, толкало Пруста в дни его юности погружаться в пьянящую светскую жизнь, пить «сегодняшний» день до конца, до капли, ибо «завтра» могло и не наступить.

Но «завтра» настало. С 1905 года Пруст целиком отдается литературе. Он входит в литературу с неисчерпаемым запасом психологических наблюдений — запасом, собранным им в течение двенадцати лет его светской жизни и лишь частично использованным в «Утехах и днях». Расплатой за «утехи», добровольно принятой, явились для Пруста «дни» напряженного, нечеловеческого труда над своим романом. Обособившись от мира внешнего, отказавшись от всех внешних впечатлений, которые он уже не мог выносить из-за прогрессирующей болезни, писатель ушел от жизни для работы. Работать он мог только по ночам, ибо днем задышался; он жил и писал, напрягая всю свою волю, чтобы преодолеть страдания; раздражения органов чувств были ему уже непосильны — в последние годы он должен был жить в совершенно изолированной комнате, обитой пробкой, которая заглушала все звуки, доносившиеся извне. Получив в 1919 году премию Гонкуров, он умер 18 ноября 1922 года, не успев целиком опубликовать свой роман.

«Утехи и дни» — тонкая книга. Снобизм в ней — мнимый. Всегда Пруст видел «светских» людей в должном освещении, никогда он не был ими одурачен. Leon Pierre Quint, автор монографии о Прусте, вспоминает, как часто в разговоре о них писатель повторял: «Ah! qu'ils sont idiots!»[1]

Стиль Пруста — предмет монографии. Периоды нередко простираются на целую страницу, и посему перевод Пруста на другой язык — задача большой трудности.

Евгений Ланн <1927>

Моему другу Вилли Хату, умершему в Париже 3 октября 1893 г.

С груди Господней, на которой ты покоишься... ниспошли на меня откровение; открой мне те истины, которые властвуют над смертью; мешают бояться ее и внушают почти любовь к ней.

Древние греки приносили на могилу своих мертвецов пироги, молоко и вино. Мы же, обольщенные более изысканной, если не более скромной мечтой, приносим им цветы и книги. Я отдаю вам эту книгу прежде всего потому, что она иллюстрирована[2]. Несмотря на «легенды», она будет если не прочтена, то, во всяком случае, просмотрена всеми почитателями великой художницы, сделавшей мне с такой простотой этот великолепный подарок; та, о которой можно было бы сказать словами Дюма: «Это она после Бога создала наибольшее количество роз».

Я пожелал, чтобы на первой странице они увидели имя того, кого они не успели узнать и кем могли бы восхищаться. Я сам, дорогой друг, недолго знал вас. Я часто встречал вас в Булонском лесу; вы поджидали меня в тени деревьев, напоминая своим задумчивым, изящным видом одного из тех вельмож, которых писал Ван Дейк. Действительно, их изящество, так же как и ваше, кроется не столько в одежде, сколько в фигуре: кажется, будто ваша душа сообщает и непрерывно будет сообщать вашему телу это изящество. Это духовное изящество. К тому же все вокруг, вплоть до этого фона листвы, в тени которой Ван Дейк часто приостанавливал прогулку короля, подчеркивало это печальное сходство. Как и многим из тех, кто позировал ему, и вам суждено было рано умереть; и в ваших глазах тени предчувствия сменялись нежным сиянием покорности судьбе. Но если очарование вашего благородства родственно искусству Ван Дейка, таинственная интенсивность вашей духовной жизни напоминает Винчи. Часто, с поднятым пальцем, с непроницаемыми и улыбающимися глазами, глядящими в лицо тайне, о которой вы умалчивали, вы казались мне Иоанном Крестителем Леонардо. Мы мечтали тогда, почти создали план все более и более близкой совместной жизни в кругу великодушных и избранных мужчин и женщин, достаточно далеко от глупости, порока и злобы, для того чтобы чувствовать себя в безопасности от их пошлых стрел.

Ваша жизнь — та, к которой вы стремились, — была бы одним из тех произведений, создание которых требует высокого вдохновения. Это вдохновение может быть дано нам любовью, так же как оно дается нам верой и гением. Но вам суждено было получить его от смерти. И она, даже приближение ее, обладает скрытыми силами, тайными помощниками, «очарованием», которого лишена жизнь. Больные, так же как любовники, в начале любви, как поэты, когда они слагают свои песни, острее и глубже чувствуют свою душу. Жизнь жестока, она слишком сильно связывает нас и непрерывно причиняет боль нашей душе. Сознание того, что узы ее ослабеют, может преисполнить нас сладостью ясновидения.

Когда я был еще совсем ребенком, ничья из судеб библейских мужей не казалась мне столь несчастной, как судьба Ноя, который из-за потопа был на сорок дней заточен в ковчег. Позже я часто болел и в течение многих дней тоже должен был оставаться в «ковчеге». Тогда я понял, что только находясь в ковчеге Ной мог видеть мир, несмотря на то, что ковчег был заперт и на земле была ночь. Когда наступило мое выздоровление, моя мать, не покидавшая меня даже ночью, «открыла дверь ковчега» и вышла. Однако так же, как голубь, «она вернулась в тот же вечер». Потом я выздоровел окончательно, и, подобно голубю, «она не вернулась обратно». Пришлось снова вступить в жизнь, отвлекаться от самого себя, прислушиваться к речам более суровым, чем речи моей матери; а речи, до сей

поры такие нежные, стали теперь иными, отмеченными суровостью жизни и долга, которым она должна была учить меня. Нежный библейский голубь, как поверить тому, что патриарх увидел отлет, не почувствовав печаль вместе с радостью по поводу возрождения мира? Сладость приостановившейся жизни, настоящего «отдыха Господня», приостановившая и работы и низкие желания! Голуби из ковчега: «очарование» болезни, приближающей нас к реальному потустороннего мира, очарование смерти, очарование «суежных риз и тяжелого флера», волосы, «заботливо подобранные» докучной рукой, нежная верность матери или друга, являвшаяся нам в облике нашей собственной печали или в виде заступнического места, вызванного нашей слабостью, — вы улетаете, когда мы выздоравливаем! Как часто я страдаю оттого, что вы уже так далеко от меня. И даже тот, кто не пережил таких минут, дорогой Вилли, хотел бы уйти туда, где и вы. Мы берем так много обязательств перед жизнью, что наступает час, когда, отчаявшись в возможности выполнить их, мы обращаем свой взор на могилы и призываем «смерть, приходящую на помощь тем судьбам, которым трудно выполнить свои предначертания». Но если смерть освобождает нас от обязательств, которые мы взяли перед жизнью, она не может освободить нас от обязательств перед самим собой и главным образом от первого — жить значительной и достойной жизнью.

Серьезней всех нас, вы в то же время были и ребячливей всех, не только чистотой своего сердца, но и очаровательной и искренней веселостью. Шарль де Гренсей обладал способностью, вызывавшей мою зависть, внезапно будить гимназическими воспоминаниями ваш смех, столь долго не умолкавший — смех, который нам уже не придется услышать вновь. Если некоторые из этих страниц были написаны в двадцать три года, многие другие (Виоланта и др.) относятся к двадцатилетнему возрасту. Все это лишь бесполезная пена бурной, но теперь успокаивающейся жизни. Будет ли она когда-нибудь настолько прозрачной, что отразит на своей поверхности улыбки и пляски муз, удостоивших ее своим созерцанием? Я даю вам эту книгу. Увы! Вы единственный из моих друзей, чьей критики ей не нужно бояться. По крайней мере, я уверен в том, что нигде вы не будете шокированы фривольностью тона. Всегда я изображал безнравственность только тех людей, у которых чуткая совесть. Я мог говорить об этих людях, слишком слабых, чтобы стремиться к добру, и слишком благородных, чтобы в полной мере наслаждаться грехом, осужденных на одно лишь страдание, с жалостью, слишком искренней для того, чтобы она не очистила от скверны моих маленьких попыток. Пусть мой истинный друг, пусть знаменитый и горячо любимый Мэтр один прибавил к моей книге поэзию музыки, другой — музыку своей несравненной поэзии, пусть также Г. Дарлю, великий философ, чья вдохновенная речь, более долговечная, чем книга, вдохновила меня, — пусть они простят мне то, что я приберег для вас этот последний знак моей любви. Пусть они вспомнят, что каждый живой человек, как бы велик или дорог он нам ни был, должен быть почтен после мертвого.

Июль 1894

Смерть Бальдассара Сильванда, виконта Сильвани

По словам поэтов, Аполлон пас стада царя Ад мета; каждый человек — также переодетый бог, который притворяется безумцем.

Эмерсон

— Не плачьте так, мсье Алексис, быть может, господин виконт Сильвани подарит вам лошадь.

— Большую лошадь, Бейпо, или пони?

— Может быть, и большую, такую, как у господина Кардениса. Но не плачьте так... Ведь вам исполнилось сегодня тринадцать лет.

Напоминание о том, что он может получить лошадь и что ему уже тринадцать лет, зажгло взор Алексиса: его глаза заблестали сквозь слезы. Но даже и это не могло успокоить его теперь, когда ему предстояло навестить дядю Бальдассара, виконта Сильвани. Правда, с тех пор, как Алексис услышал, что болезнь дяди неизлечима, он уже видел его несколько раз. Но с того времени многое изменилось. Теперь Бальдассар уже отдавал себе отчет в своей болезни и знал, что ему осталось жить самое большее три года. Не понимая, как эта уверенность могла не убить или не свести с ума его дядю, Алексис чувствовал, что он не сможет вынести горечи этой встречи. Он был уверен в том, что дядя будет говорить с ним о предстоящей смерти, и не находил в себе сил не только для утешений, но и для того, чтобы сдерживать рыдания. Он всегда боготворил своего дядю, самого рослого, самого красивого, самого молодого, самого веселого, самого нежного из родственников. Он любил его серые глаза, его светлые усы, его колени — уютное и нежное лоно для забав, прибежище в страшную минуту, в те дни, когда он был еще совсем мал. Эти колени казались ему тогда неприступными, как крепость, забавными, как деревянные лошадки, и более неприкосновенными, чем храм. Для Алексиса, явно порицавшего мрачный и строгий вид своего отца и мечтавшего о том времени, когда верхом на коне он будет элегантен, как дама, и великолепен, как король, Бальдассар являлся идеалом мужчины; он знал, что его дядя красив, что он — Алексис — похож на него; знал он также, что дядя умен, великодушен и так же могуществен, как епископ или генерал. Правда, из замечаний своих родителей он узнал, что у виконта имеются недостатки. Он помнил даже буйный гнев дяди в тот день, когда кузен Жан Галеас подтрунивал над блеском его глаз, выдавшим его тщеславную радость, когда герцог Пармский предложил ему руку своей сестры; пытаясь скрыть свое удовольствие, он стиснул зубы и сделал свою обычную гримасу, которая так не нравилась Алексису. Он помнил и его презрительный тон в разговоре с Лукрецией, которая бравировала тем, что не любит его музыку.

Часто его родители намекали на другие неизвестные Алексису поступки дяди и горячо осуждали их.

Несомненно, теперь все недостатки Бальдассара и его пошлая гримаса исчезли. Какими, вероятно, безразличными сделались для дяди насмешки Жана Галеаса, дружба герцога Пармского и его собственная музыка после того, как он узнал, что его, может быть, года через два ждет смерть. Алексис представлял его себе таким же красивым, но торжественным и еще более совершенным, чем раньше. Да, торжественным и уже как бы не от мира сего! Кроме того, к его отчаянию примешивалось некоторое беспокойство и страх. Лошади уже давно были запряжены, нужно было ехать; он сел в экипаж, потом снова вышел для того, чтобы в последний раз посоветоваться со своим наставником. Во время разговора он вдруг сильно покраснел:

— Господин Легран, что лучше — чтобы дядя думал, будто я знаю о его близкой смерти или не знаю?

— Пусть лучше думает, будто вы не знаете!

— Но если он заговорит со мной об этом?

— Он с вами об этом не заговорит.

— Не заговорит? — спросил Алексис с удивлением, так как это было единственной возможностью, которой он не предвидел: каждый раз, как он начинал представлять себе свидание с дядей, он слышал, как тот с кротостью священника говорит ему о смерти.

— Но все-таки, если он заговорит об этом?

— Вы скажете, что он ошибается.

— А если я заплачу?

— Вы слишком много плакали сегодня утром, вы не будете больше плакать.

— Я не буду плакать! — с отчаянием в голосе закричал Алексис. — Но тогда он подумает, что я не опечален, что я не люблю его... мой милый, дорогой дядя!

И он снова залился слезами. Его мать, выведенная из терпения ожиданием, пришла за ним; они уехали.

Алексис отдал свое пальто стоящему в передней лакею в зеленой ливрее с белыми нашивками и гербами Сильвани и одновременно с матерью остановился на мгновение, чтобы послушать доносившуюся из соседней комнаты скрипку. Затем их ввели в огромную круглую комнату со стеклянными стенами. В этой комнате часто проводил время виконт. Войдя в комнату, вы видели перед собой море, повернув голову — луга, пастбища и леса, а в глубине комнаты — двух кошек, розы, маки и много музыкальных инструментов.

Они прождали несколько минут. Алексис бросился к матери; она подумала, что он хочет поцеловать ее, но он совсем тихо, прильнув к ее уху, спросил:

— Сколько лет дяде?

— Ему исполнится тридцать шесть лет в июне.

Он хотел спросить: «Ты думаешь, что ему никогда не исполнится тридцать шесть?» — но не посмел.

Дверь открылась, Алексис задрожал, слуга сказал:

— Мсье виконт сейчас здесь будет.

Вскоре слуга снова вернулся, впуская в комнату двух павлинов и козленка, которых виконт всюду водил за собой. Потом послышались другие шаги, и дверь снова открылась.

«Это ничего, — сказал самому себе Алексис, у которого от каждого звука сердце начинало усиленно биться, — очень возможно, что это слуга». Но в то же время он слышал, как нежный голос произнес:

— Здравствуй, мой маленький Алексис, поздравляю тебя.

Поцелуй дяди испугал его. По всей вероятности, дядя заметил это и, перестав обращать на него внимание, чтобы дать ему возможность прийти в себя, стал весело беседовать с матерью Алексиса, своей невесткой, которая после смерти его собственной матери сделалась для него любимейшим существом на свете. Теперь, успокоившись, Алексис не чувствовал ничего, кроме огромной нежности к этому молодому, еще такому очаровательному, чуть-чуть побледневшему человеку, который так геройски притворялся веселым в эти трагические минуты. Ему хотелось бы броситься ему на шею, но он не смел, боясь сломить энергию дяди: он не сумел бы после этого владеть собою. Печальный и нежный взгляд дяди особенно внушал ему желание плакать. Алексис знал, что глаза виконта всегда были печальны и даже в самые счастливые минуты как бы молили об утешении в страданиях, которые он, казалось, испытывал. Но в этот момент он подумал, что печаль, мужественно изгнанная из его речей, приютилась в его глазах; и во всем его существе были искренними только эти глаза и похудевшие щеки.

— Я знаю, мой маленький Алексис, — сказал Бальдассар, — что тебе бы хотелось править парой лошадей, запряженной в экипаж; завтра тебе приведут лошадь. В будущем году я подарю тебе вторую, а через два года ты получишь экипаж. Но в этом году ты, быть может, сможешь ездить верхом; мы попробуем, когда я вернусь. Я окончательно решил ехать завтра, — прибавил он, — но ненадолго. Я вернусь раньше чем через месяц, и мы отправимся вместе с тобой посмотреть комедию, которую я обещал тебе показать.

Алексис знал, что дядя проведет несколько недель у одного из своих друзей; он знал также, что виконту еще разрешали посещать театр. И хотя весь он был проникнут мыслью о смерти, которая так глубоко потрясла его перед приездом сюда, — все же слова дяди мучительно и глубоко удивили его.

«Я не пойду, — сказал он самому себе. — Как он должен будет страдать от шутовства актеров и смеха публики!»

— Что это за красивая ария, которую мы слышали, когда пришли сюда? — спросила мать Алексиса.

— А! она понравилась вам? — быстро проговорил Бальдассар с радостным видом. — Это тот романс, о котором я говорил вам.

«Притворяется ли он? — спросил самого себя Алексис. — Каким образом его еще может радовать впечатление, произведенное его игрой?»

В этот момент на лице виконта появилось выражение глубокого страдания; он побледнел, сжал губы, нахмурил брови; глаза его наполнились слезами.

«Господи! — внутренне закричал Алексис. — Эта роль не под силу ему. Бедный дядя! Но почему же он так боится огорчить нас? Зачем он принимает всю тяжесть на себя?»

Но внезапно вызванные общим параличом боли, временами сжимавшие тело Бальдассара, словно железным корсетом, прекратились.

К нему вернулось хорошее настроение, и, смахнув слезы, он снова заговорил.

— Мне кажется, что с некоторых пор герцог Пармский с тобой не так любезен, как прежде; так ли это? — некстати спросила мать Алексиса.

— Герцог Пармский! — закричал Бальдассар. — Герцог Пармский недостаточно любезен! Почему вы так думаете, моя дорогая? Еще сегодня утром он написал мне, что предоставит в мое распоряжение свой Иллирийский замок, если горный воздух полезен мне.

Он стремительно поднялся, но тотчас же почувствовал жестокую боль и должен был на мгновение остановиться; как только боль утихла, он крикнул слуге:

— Принесите мне письмо, которое лежит на столике у кровати.

И он стал быстро читать:

«Мой дорогой Бальдассар,

как я соскучился по Вас и т. д. и т. д.»

По мере того как обнаруживалась любезность принца, лицо Бальдассара смягчалось, озарялось выражением счастливой уверенности в себе. И вдруг, желая, по всей вероятности, скрыть радость, которую считал не слишком возвышенной, он стиснул зубы и сделал красивую

пошлую гримасу, которая, по мнению Алексиса, была навеки изгнана с его умиротворенного близостью смерти лица.

Эта гримаса, как и прежде образовавшая складки у губ Бальдассара, открыла глаза Алексису; все время, пока он находился возле дяди, ему хотелось созерцать лицо умирающего, навсегда освобожденного от выражения пошлой повседневности, — лицо, на котором могла мелькать лишь одна геройски вынужденная, печально-нежная, небесная и разочарованная улыбка; теперь он больше не сомневался в том, что, поддразнивая дядю, Жан Галеас, как и прежде, вызвал бы его гнев; теперь он больше не сомневался, что в веселости больного, в его желании пойти в театр не было ни притворства, ни мужества, что Бальдассар, стоящий так близко к смерти, продолжал думать только о жизни.

Когда Алексис вернулся к себе, его глубоко поразила мысль, что когда-нибудь умрет и он, а если ему осталось жить гораздо больше, чем дяде, то и кузина Бальдассара, герцогиня д'Алериувр, и его старый садовник, по всей вероятности, не намного переживут виконта. Однако садовник Рокко, достаточно богатый для того, чтобы уйти на покой, продолжал работать, чтобы заработать еще больше денег, и старался получить премию за свои розы. Герцогиня, несмотря на свои семьдесят лет, очень старательно подкрашивалась и платила за те статьи в газетах, в которых прославляли ее юную походку, великолепие ее вечерних приемов, тонкость ее ужина и ума.

Эти примеры не заглушили удивления, в которое повергло Алексиса поведение дяди; наоборот, увеличиваясь все больше и больше, оно выросло в изумление по поводу постыдного поведения людей, из числа которых он не исключал и себя: приближаясь к смерти, люди пятились назад, продолжая видеть только жизнь.

Он решил не следовать этому неприятному заблуждению, а взять пример с древних пророков, слава которых была ему известна из учебников, и удалиться в пустыню с несколькими из своих товарищей; он сообщил об этом решении своим родителям.

К счастью, сама жизнь оказалась еще более могущественной, чем их насмешки: желая отвлечь его от этих мыслей, она подставила ему свою грудь, которую он еще не успел дососать — грудь, наполненную сладким молоком, укрепляющим силы. И он снова с радостной жадностью принялся пить этот напиток, изменяя его вкус силой своего воображения.

Увы, печальна плоть...

Малларме

На другой день после посещения Алексиса виконт Сильвани отправился на три-четыре недели в соседний замок, где многочисленное общество могло бы рассеять печаль, почти всегда сопровождавшую его припадки.

Радость пребывания его в замке питалась присутствием одной молодой женщины, которая, разделяя эту радость, делала ее вдвойне прекрасной. Ему показалось, что она любит его, но все же в отношениях с ней он сохранил некоторую сдержанность: он знал, что она абсолютно чиста и, кроме того, с нетерпением ждет приезда своего мужа; к тому же он не был уверен в том, что действительно ее любит, и смутно понимал, как грешно было бы склонять ее на бесчестный поступок. Когда именно их отношения изменились — этого вспомнить он не мог. Теперь, как бы в силу молчаливого согласия, момент возникновения которого он не смог бы определить, он целовал кисти ее рук и обнимал ее, она казалась такой счастливой, что однажды вечером он позволил себе пойти дальше; он начал с поцелуев; затем долго ласкал ее и снова стал целовать ее глаза, щеки, губы, шею. Ее улыбающиеся губы тянулись к его губам, а глубина глаз блистала, как согретая солнцем вода. Ласки Бальдассара сделались более смелыми; но, взглянув на нее, он был поражен ее бледностью и выражением бесконечного отчаяния ее мертвенного лба, ее удрученных и усталых глаз, плакавших без слез, как бы от крестной муки или безвозвратной потери любимого существа. Он наблюдал ее в течение минуты; и вот с величайшим усилием она подняла на него умолявшие о пощаде глаза, в то время как ее жадный рот, бессознательным и судорожным движением, требовал новых поцелуев. Вновь отдавшись очарованию, разлитому в воздухе, в благоухании их поцелуев, в воспоминании об их ласках, они бросались друг к другу, закрыв глаза, — жестокие глаза, выдававшие их душевную муку. Они не хотели знать о ней. В особенности он старался не открывать глаз, как мучимый раскаянием палач, чувствующий, что его рука может дрогнуть в момент нанесения удара жертве. Он боялся увидеть вместо волнующего, влекущего к страстным ласкам образа ее подлинное лицо и вновь ощутить ее страдание.

Наступила ночь, а она все еще оставалась в его комнате; ее блуждающие глаза были сухи. Она ушла, не сказав ему ни единого слова, со страстной печалью поцеловав его руку.

Он, однако, не мог заснуть и, забывшись на мгновение, вздрагивал, чувствуя на себе взгляд умоляющих глаз своей кроткой жертвы. Вдруг он представил себе, что и она сейчас не может заснуть и чувствует себя бесконечно одинокой. Он оделся, осторожно дошел до дверей ее комнаты, боясь произвести малейший шум, чтобы не разбудить ее, если она заснула. Но вернуться в свою комнату, где небо и земля и его собственная душа подавляли его своей тяжестью, — он также боялся. Он остался здесь, на пороге ее комнаты, чувствуя, что каждую минуту может потерять власть над собой и войти к ней; потом он ужаснулся при мысли, что нарушит это сладкое забытие, это нежное, ровное дыхание, этот краткий отдых для того, чтобы снова отдать ее во власть угрызений совести и отчаяния. И он остался здесь, у порога, то присаживаясь, то становясь на колени, то ложась на пол. Утром, озябший и успокоившийся, он вернулся в свою комнату, долго спал и проснулся в радостном настроении. Каждый из них умудрялся успокоить совесть другого; они привыкли к ослабевающим угрызениям совести, к наслаждениям, которые также стали менее остры, и, вернувшись к себе в Сильвани, он, как и она, сохранил об этих пламенных и жестоких минутах лишь приятное, но холодное воспоминание.

Юность оглушает его, он не слышит.

Мадам де Севинье

В день своего рождения, когда Алексису исполнилось четырнадцать лет, он отправился навестить дядю Бальдассара, но, вопреки своим ожиданиям, не пережил вновь волнений прошлого года. Бесперывная езда на лошади, полученной в подарок от дяди, развивая его силы, уничтожила всю его вялость и оживила в нем то постоянное ощущение здоровья, которое сопутствует молодости, как неясное сознание глубины ее возможностей и мощи ее веселья.

Подымая ветер бешеным галопом, он чувствовал, что грудь его вздувается, словно парус, тело пылает, как печь в зимний день, а лоб так же прохладен, как мелькающая мимо него и задевавшая его на пути листва; по возвращении домой он ощущал, как напрягается под струей холодной воды его тело или как предается оно длительному отдыху, переваривая вкусный обед; все это возбуждало в нем те жизненные силы, которые прежде являлись гордостью Бальдассара, а теперь навсегда покинули его для того, чтобы тешить более молодые сердца и когда-нибудь им изменить.

Изнемогать при виде слабости дяди и умирать, вспоминая о предстоящей виконту смерти, Алексис больше уже не мог. Веселый шепот крови и желаний мешал ему слышать слабые жалобы больного. Алексис вступил в тот пламенный период жизни, когда тело воздвигает свои замки на пути между собой и душой с такой энергией, что душа как бы исчезает до того дня, пока болезнь или горе не пробьют скорбной расселины, на краю которой она появится вновь.

Он привык к смертельной болезни дяди так, как привыкают ко всему, что происходит вокруг нас, и хотя дядя продолжал жить, Алексис обращался с ним как с мертвым и начинал забывать о нем оттого, что однажды оплакивал его, как оплакивают мертвых.

И когда дядя сказал ему в этот день: «Мой маленький Алексис, я дарю тебе экипаж вместе со второй лошадью», — он понял, что дядя думал про себя так: «иначе ты рисковал бы никогда не получить экипажа»; и хотя он знал, что эта мысль была очень печальной, но не реагировал, как раньше, ибо теперь он уже не был способен на глубокую печаль.

Спустя некоторое время, читая одну книгу, он был поражен образом злодея, которого не растрогали самые нежные предсмертные слова обожавшего его больного. Когда наступил вечер, страх, что он похож на этого злодея, помешал ему уснуть. Но на другой день он совершил такую великолепную прогулку верхом, так хорошо поработал, почувствовал такую нежность к своим родителям, что снова со спокойной совестью стал наслаждаться жизнью и спать по ночам.

А меж тем виконт Сильвани, который уже двигался с трудом, почти не выходил из замка. Его друзья и родные проводили с ним все дни. В каком бы безумном и достойном порицания поступке он ни сознался, какой бы ни бросил парадокс, какие бы постыдные недостатки не обнаружил, — его родные не упрекали его ни в чем, а друзья не позволяли себе ни насмеяться, ни противоречить. Казалось, что по молчаливому соглашению с него была снята ответственность за его поступки и слова. И казалось, что было приложено особое старание для того, чтобы помешать ему прислушиваться к последней скрежещущей боли тела, расстающегося с жизнью; для этого они обволакивали его нежностью, словно ватой, или побеждали его боли исключительным вниманием.

Он проводил долгие и очаровательные часы наедине с самим собою — с единственным гостем, которого он небрежно забывал пригласить на ужин в течение своей жизни. Он ощущал меланхолическую радость, наряжая свое страждущее тело, и покорно созерцал море, опираясь локтем на подоконник. Со страстной печалью, как бы исправляя художественное произведение, он вносил все новые и новые подробности в давно обдуманную им сцену своей смерти и окружал ее земными образами, которыми еще был полон; они удалялись от него и потому казались туманными и прекрасными. Ему уже рисовалось в воображении прощание с его платонической любовью — герцогиней Оливианой, в салоне которой царствовал он, несмотря на присутствие самых высокопоставленных вельмож, самых знаменитых артистов и самых великих умов Европы. Ему казалось, что он уже читает повествование об их последней встрече:

«...Солнце уже зашло, видневшееся сквозь листву яблонь море было цвета мов. Маленькие голубые и розовые облака, легкие, как бледные увядшие венки, и бесконечные, как печали, плыли на горизонте. Ряд грустных тополей погружал в тень розовый купол церкви; последние лучи солнца, не касаясь их стволов, обагрляли их ветви, украшая эти тенистые балюстрады гирляндами света. Ветер сплавил три благоухания — моря, влажных листьев и молока. Никогда еще поля Сильвани не дышали такой сладострастной меланхолией, как в этот вечер.

— Я очень любила вас, но я мало дала вам, мой бедный друг, — сказала она.

— Что вы говорите, Оливиана? Как вы могли дать мне мало? Вы дали мне больше, чем я мечтал, и поистине гораздо больше, чем в том случае, если бы к нашей нежности примешалась чувственность. Я боготворил вас — неземную, как Мадонна, нежную, как кормилица, и вы баюкали меня, как младенца. Я любил вас той любовью, чуткая прозорливость которой не была смущена ни единой надеждой на радость физической близости. И разве вы не предложили мне взамен несравненную дружбу, превосходный чай, простую и изящную беседу и так много свежих роз? Только вы одна своими материнскими и сильными руками умели охладить мой пылавший лихорадочным жаром лоб, смочить живительным бальзамом мои увядшие губы, наполнить мою жизнь благородными образами.

— Милый друг, дайте мне поцеловать ваши руки...»

Только равнодушие Пии, которую он продолжал любить всем телом и всей душой, — равнодушие маленькой сиракузской княжны, охваченной непобедимой любовью к Каструччо, — время от времени вновь возвращало его к более жестокой действительности, которую он старался забыть. До самого последнего времени он еще продолжал иногда посещать балы и, прогуливаясь под руку с Пией, думал, что этим унижает своего соперника; но даже здесь, идя рядом с ней, он чувствовал по рассеянному выражению ее глубоких глаз, что она поглощена другой любовью и что только из жалости к его болезни она пытается это скрыть.

А теперь он не был больше способен даже и на это. Он настолько перестал владеть своими ногами, что не мог больше выходить из дому. Но она часто приходила навещать его и, как бы сделавшись сообщницей заговора его друзей и родных, постоянно говорила с ним тоном деланной нежности, никогда не проявляя, как прежде, вспышек своего равнодушия или гнева. И эта нежность больше, чем чья-либо другая, навевала на него успокоение и восхищала его.

Но вот однажды, когда он поднялся со своего стула для того, чтобы пойти к столу, слуга с удивлением заметил, что он ходит гораздо лучше, чем раньше. Он велел позвать доктора, который решил временно не высказываться по этому поводу. На другой день он ходил хорошо. Через восемь дней ему разрешили выйти. Его родные и друзья преисполнились надежд. Доктор предположил, что, может быть, какая-нибудь простая, излечимая нервная болезнь дала симптомы общего паралича, которые теперь начинают исчезать. Он высказал Бальдассару свое предположение в форме уверенности; он сказал ему:

— Вы спасены!

Приговоренный к смерти принял эту милость с волнением и радостью. Но через некоторое время, когда улучшение сделалось еще более очевидным, сквозь эту радость, уже успевшую ослабеть, в силу непродолжительной привычки, — стало пробиваться острое беспокойство. Вдали от превратностей жизни, в благосклонной атмосфере окружавшей его нежности, вынужденного спокойствия и праздного размышления, бессознательно зародилось в нем желание смерти. Он был еще далек от того, чтобы осознать это, и почувствовал лишь неясный страх при мысли о том, что снова придется жить, терпеть удары судьбы, от которых он отвык, и лишиться окружавшей его нежности. И еще: он смутно почувствовал, что было бы нехорошо забыться в удовольствиях или работе теперь, когда он познакомился с самим собою, с этим родным незнакомцем, часами беседовавшим с ним, в то время как он следил за плывущими по морю лодками, — с незнакомцем, который был так далеко и так близко от него — в нем самом. Он чувствовал теперь, что в нем, как в юноше, который не знал о месте своего рождения, просыпается любовь к новой, еще неведомой родине, испытывал тоску по смерти, которая прежде представлялась ему вечной ссылкой.

Как-то он стал развивать одну идею, и кузен его Жан Галеас, зная, что он выздоровел, начал неистово противоречить ему и подтрунивать. Невестка Бальдассара, которая в течение двух месяцев посещала его ежедневно утром и вечером, уже два дня у него не была. Это было слишком жестоко. Он давно уже отвык от тягостей жизни и не хотел познавать их вновь. Очарования жизни еще не успели снова овладеть им. Постепенно к нему вернулись силы, а вместе с ними и желание жить; он начал выходить из дому, снова вошел в жизнь и вторично потерял самого себя. Через месяц вновь обнаружили симптомы общего паралича. Мало-помалу, как и прежде, он снова перестал ходить; эта перемена произошла постепенно, и у него было достаточно времени, чтобы привыкнуть к своему возвращению к смерти. Рецидив болезни уже не обладал преимуществом первого приступа, к концу которого Бальдассар, удалившись от жизни, начал созерцать ее, как картину, лишённую всего реального. Наоборот, теперь он делался все более и более тщеславным, раздражительным, горячо сожалея о недоступных ему наслаждениях.

Только нежно любимая им невестка, посещавшая его несколько раз на день вместе с Алексисом, вносила некоторое успокоение в эти последние его дни.

Однажды, после обеда, когда, отправившись навестить виконта, она подъезжала к его дому, ее лошади чего-то испугались и понесли; она была выброшена из экипажа, смята мчавшимся мимо всадником и в бессознательном состоянии, с раскроенным черепом, принесена к Бальдассару.

Кучер, оставшийся невредимым, немедленно явился к виконту, чтобы сообщить ему о несчастном случае. Лицо виконта пожелтело, вылезшие из орбит глаза засверкали, он стиснул зубы; в припадке страшного гнева он обрушился на кучера. Но казалось, что этими вспышками бешенства он пытался заглушить горькие, еле слышные стоны, как будто какой-то больной человек жаловался виконту на свою судьбу. И вскоре эта слабая вначале жалоба заглушила его бешеные крики, и виконт, рыдая опустился на стул.

Потом он пожелал умыться, чтобы не расстроить невестку следами слез. Слуга печально покачал головой: больная не приходила в сознание. Виконт провел два безнадежных дня и ночи у ее постели. С минуты на минуту она могла умереть. На вторую ночь решились на рискованную операцию. На третье утро жар спал, и больная, улыбаясь, смотрела на Бальдассара, который не мог больше сдерживать своих слез и не переставая плакал от радости. Когда смерть подходила к нему медленными шагами, он не хотел ее замечать; теперь он внезапно встал с ней лицом к лицу. Она испугала его, угрожая тому, что было для него дороже всего; он умолял ее, и она смилиостивилась.

Себя он чувствовал сильным и свободным, гордым от сознания, что его собственная жизнь представляла для него меньшую ценность, чем жизнь его невестки; он настолько же хотел сохранить ее жизнь, насколько презирал свою. Теперь он смотрел в лицо самой смерти и не думал больше о сопровождающих ее поэтических сценах. Он мечтал остаться таким до самого конца, — свободным от лжи, которая, обставляя его последние минуты пышностью и славой, довела бы свою низкую роль до конца, осквернив таинство его смерти так, как осквернила уже таинство его жизни.

Завтра, завтра — одно и то же завтра!

Оно скользит до самого конца,

И по складам, как книга, жизнь уходит.

Вчерашний день глупцам лишь освещал

В могилу путь. Так догорай, свеча!

Жизнь? — Тень! Несчастный шут,

Кривляющийся на подмостках,

Забытый скоро. Жизнь — сказка

В устах глупца. Пустыми фразами

Она гремит, но смысла нет в ней.

Шекспир. Макбет

Волнение и усталость Бальдассара, вызванные несчастным случаем с его невесткой, ускорили ход его болезни. От своего духовника он узнал, что не проживет и одного месяца.

Было десять часов утра, лип дождь. Какой-то экипаж подъехал к замку. Это была герцогиня Оливиана. Тогда он сказал самому себе, что — мысленно — хорошо разукрасил сцену своей смерти:

«Это случится светлым вечером. Солнца уже не будет. Виднеющееся сквозь листву яблонь море будет цвета мов. Маленькие голубые и розовые облака, легкие, как бледные увядшие венки, и бесконечные, как печали, будут плыть на горизонте...»

Но случилось это иначе: герцогиня Оливиана приехала к нему в десять часов утра; небо низко придвинулось к земле и было грязным; шел проливной дождь; утомленный своей болезнью, уже всецело во власти более возвышенных мыслей, уже не ощущая прелести того, что раньше казалось ему наградой, очарованием и утонченным торжеством жизни, он попросил сказать герцогине, что слишком слаб и не может принять ее. Она настаивала, но он не принял ее. Он сделал это даже не из чувства долга; герцогиня уже не существовала для него. Смерть стремительно оборвала узы рабства, которых он так боялся несколько недель назад. Он пытался думать о ней, но эти воспоминания ничего не говорили ни его уму, ни фантазии и тщеславию, умолкнувшим навсегда. Однако приблизительно за неделю до смерти объявление бала у герцогини Богемской, где Пиа должна была танцевать котильон с уезжавшим назавтра в Данию Каструччо, с неукротимой силой разбудило его ревность. Он попросил привезти к нему Пию. Его невестка слабо воспротивилась этому; он решил, что ему хотя бы помешать видеться с ней, решил, что его преследуют, и рассердился; для того чтобы не огорчать его, за ней отправились немедленно.

Когда Пиа приехала, он был совершенно спокоен, но погружен в глубочайшую печаль. Он привлек ее к своей кровати и немедленно заговорил о бале герцогини Богемской. Он сказал ей:

— Мы не были родственниками, вы не будете носить траура по мне, но мне хочется, чтобы вы исполнили одну мою просьбу: обещайте мне, что вы не пойдете на этот бал.

Они смотрели друг другу в глаза, вкладывая в этот взгляд свои печальные и страстные души, не примиренные друг с другом даже смертью. Он понял, что она колеблется, горестно сжал губы и совсем тихо произнес:

— О! лучше не обещайте ничего! Не изменяйте слову, данному умирающему. Если вы не уверены в себе, лучше не обещать.

— Я не могу обещать вам этого, я не видела его в течение двух месяцев и, быть может, не увижу никогда; я буду безутешна навеки, если не буду на этом балу.

— Вы правы, ведь вы любите его, ведь я могу умереть... А вы еще в самом расцвете сил... Но вы исполните то небольшое, о чем я вас попрошу: уйдите с этого бала пораньше, вычтите из вашего пребывания на нем тот короткий промежуток времени, который вам пришлось бы провести со мной для того, чтобы заглушить мои подозрения. Подумайте обо мне хоть немного! Хотя бы на несколько минут призовите к себе мою душу.

— Я не смею обещать вам это, бал продолжится так недолго. Даже оставаясь до конца, я едва успею его повидать. Я уделю воспоминанию о вас несколько минут каждого из последующих дней.

— О, вы не сможете этого сделать, вы забудете обо мне! Но если через год — увы! — а может быть и позже, под влиянием печальной книги, чьей-нибудь смерти или дождливого вечера, вы вспомните обо мне, — какую милость вы окажете мне этим! Я никогда, никогда не смогу больше вас видеть... разве только своим духовным взором; но для этого нужно, чтобы мы одновременно думали друг о друге. Я буду думать о вас непрестанно для того, чтобы моя душа была всегда открытой и готовой принять вас, когда бы вам ни захотелось в нее войти. Но как долго гостя заставит ждать себя? Цветы на моей могиле сгниют под потоками ноябрьских дождей, высохнут под лучами июньского солнца, а моя душа все еще будет стонать от нетерпения. О! я надеюсь, что когда-нибудь подаренная вам мною безделушка,

годовщина моей смерти или ход ваших мыслей приведут вашу память к окрестностям моей любви. И тогда мне покажется, что я услышал вас и увидел, и к вашему приходу все вокруг расцветет как по волшебству. Думайте о мертвом. Но увы! разве я могу надеяться, что смерть и ваша серьезность сумеют сделать то, чего не смогли сделать и жизнь с ее страстями, и наши слезы, и наше веселье, и наши губы?

Вот сердце благородное разбилось!

Покойной ночи, принц! И тихо напевая,

Пусть ангелы баюкают тебя.

Шекспир. Гамлет

А жестокая лихорадка и бред не покидали виконта. Ему постелили постель в той огромной круглой комнате, где Алексис видел его в день своего рождения, когда ему исполнилось тринадцать лет — видел его еще таким веселым.

Отсюда больной мог, с одной стороны, созерцать море и мол, с другой — пастбища и леса. Время от времени он начинал говорить; но его слова не носили больше отпечатка тех возвышенных мыслей, которые словно просветлили его в течение последних недель. Он яростно проклинал какого-то невидимого человека, будто бы над ним издевавшегося, и повторял без конца, что он лучший из современных музыкантов и самый высокопоставленный из всех вельмож. Потом, внезапно успокаиваясь, он приказывал своему кучеру взять его на прогулку или седлать лошадей для охоты. Он просил почтовой бумаги для того, чтобы разослать приглашения всем монархам Европы на обед по случаю своего бракосочетания с сестрой герцога Пармского; в страхе перед тем, что он не может уплатить проигрыш, он схватывал лежавший на столе у кровати нож для разрезания книг и наводил его на себя, как револьвер. Он отправлял гонцов узнать, не умер ли тот полицейский, которого он якобы избил прошлой ночью, и, смеясь, говорил непристойности женщине; ее, как казалось ему, держал он за руку. Ангелы-хранители, которые зовутся Волей и Мыслью, уже покинули его и не могли заставить вернуться его в мрак злых его гениев: изменные чувства и скверные воспоминания.

Спустя три дня, часов в пять, он очнулся как бы от плохого сна, за который не отвечаешь, хотя смутно его помнишь. Он спросил, были ли около него друзья и родные в течение тех часов, когда вскрылись самые низменные страсти его души, и попросил, если он снова начнет бредить — немедленно удалить из комнаты всех и не впускать обратно, пока он не придет в сознание. Он обвел глазами комнату и, улыбаясь, посмотрел на своего черного кота, который, забравшись на китайскую вазу, играл хризантемой и нюхал ее с ужимкой мима. Потом он попросил всех оставить комнату и долго беседовал со своим духовником. Однако он отказался от причастия, попросив доктора сказать, что его желудок уже не в состоянии вынести облатки. Через час он попросил передать невестке и Жану Галеасу, что они снова могут войти к нему, и, обращаясь к ним, сказал:

— Я покорен провидению, я счастлив, что умру и предстану перед Богом.

Было так тепло, что открыли окна, смотревшие на море незрячими глазами, а те, за которыми расстигались луга и леса, из-за сильного ветра оставили закрытыми.

Бальдассар попросил придвинуть свою кровать к открытым окнам. У мола моряки поднимали якорь, собираясь отчалить на своем судне. Красавец юнга лет пятнадцати наклонился над самым бортом; каждый раз, как набегала волна, казалось, что он вот-вот упадет в море, но он прочно стоял на своих крепких ногах. Он раскидывал рыболовную сеть и сжимал своими солеными от ветра губами зажженную трубку. И тот самый ветер, который надувал парус, коснулся своим свежим дыханием щеки Бальдассара. Он отвернулся от окна, чтобы не видеть радостей жизни, столь страстно любимых им утех, которых он никогда больше не сможет вкусить. Затем он снова посмотрел в направлении порта; трехмачтовое судно снималось с якоря.

— Это то судно, которое отплывает в Индию, — сказал Жан Галеас.

Бальдассар не различал стоявших на палубе и махавших платками людей, но представлял себе ту жажду неизведанного, которой загорался их взгляд. Много лет еще было у них впереди; они могли многое изведать, многое пережить. Подняли якорь, раздался крик, и судно по сумрачному морю двинулось к востоку, где в золотистом тумане не отличить судна от облачка и где солнце нашептывало отъезжающим невыносимо прекрасные и смутные обещания.

Бальдассар велел закрыть эти окна и открыть те, которые выходили на луга и леса. Он взглянул на поля, но до его слуха еще долетали прощальные возгласы с трехмачтового судна, и он все еще видел юнгу с трубкой в зубах, забрасывающего свою сеть.

Рука Бальдассара судорожно вздрагивала. Вдруг он услышал тихий, едва уловимый для слуха и глубокий, как биение сердца, звук. Это был колокольный звон из очень дальней деревни; в этот вечер, благодаря прозрачности воздуха и благоприятному ветру, он пролетел немало равнин и рек, прежде чем достичь чуткого уха Бальдассара. Этот звук был издавна знаком ему; он чувствовал, как его сердце билось в такт ритмичным ударам колоколов; он задерживал дыхание в тот момент, когда колокола как бы вбирали звук в себя, и затем долго и слабо выдыхал воздух вместе с ними. Во все периоды своей жизни, каждый раз, как ему приходилось слышать дальние колокола, он невольно вспоминал их нежный звон в вечернем воздухе, когда еще ребенком возвращался полями в замок.

В эту минуту доктор позвал всех и сказал:

— Все кончено!

Бальдассар покоился с закрытыми глазами, прислушиваясь сердцем к колокольному звону, уже недоступному его парализованному слуху. Он еще раз увидел свою мать такую, какой она приходила к нему по утрам и целовала его, а по вечерам укладывала спать, согревая его ноги в своих руках и оставаясь подле него, если он не мог уснуть; он вспоминал своего Робинзона Крузо; вечера в саду, когда пела его сестра; слова своего учителя, предсказывающего ему великую музыкальную будущность; вызванное этими словами волнение матери, которое она тщетно пыталась скрыть. Теперь было уже поздно осуществить страстные мечты его матери и сестры — мечты, которые он так жестоко обманул. Он еще раз увидел большую липу, под которой сделал предложение своей невесте, вспомнил

день, когда пристроилась его матушка. Тогда мать сумела указать его. Ему показалось, что он целует свою старую няню и держит в руках свою первую скрипку. Он увидел все это в светлой, нежной и печальной дали, напоминающей те дали, на которые незрячими глазами смотрели окна, обращенные к полям. Он еще раз увидел все это, хотя не прошло и двух секунд с тех пор, как доктор, выслушав его сердце, сказал:

— Все кончено!

И поднялся, сказав еще раз:

— Все кончено!

Алексис, его мать и Жан Галеас преклонили колени рядом с герцогом Пармским, который только что приехал. У открытых дверей плакали слуги.

Виоланта, или Светская суетность

Не водите знакомства с юношами и светскими людьми... Не стремитесь предстать перед сильными мира сего.

Подражание Иисусу Христу. Кн. I гл. 8

Глава первая. Созерцательное детство Виоланты

Виконтесса Стири была великодушна, нежна, преисполнена чарующей прелести. Виконт, ее муж, обладал очень живым умом и удивительно правильными чертами лица. Но первый встречный гренадер был более чувствителен и менее вульгарен, чем он. Вдали от света, в глухом имении Стири, они воспитали свою дочь Виоланту; красивая и живая, как отец, такая же добрая и обладающая тайной очарования, как и мать, — она, как Бог, сочетала в себе с необычайной гармонией достоинства своих родителей. Но влечения ее ума и сердца были непостоянны; она не обладала той силой воли, которая, не ограничивая влечений, тем не менее помещала бы им сделать ее своей очаровательной и хрупкой игрушкой. Это отсутствие силы воли внушало матери Виоланты опасения, которые могли бы со временем возрасти, если бы виконтесса вместе со своим мужем не погибла от несчастного случая на охоте, оставив пятнадцатилетнюю Виоланту сиротой. Проводя свои дни почти в полном одиночестве, под бдительным, но неразумным надзором старого Огюстена, своего учителя и управляющего замком Стири, Виоланта за неимением друзей создала в мечтах очаровательных товарищей, которым обещала верность на всю жизнь. Она заставляла их прогуливаться по аллеям парка, по полям, опираться на перила террасы, выходившей на море. Возвысившись благодаря их влиянию, Виоланта воспринимала все видимое и смутно предчувствовала невидимое. Ее радость была бесконечной, сменяясь грустью, еще более сладостной, чем радость.

Глава вторая. Чувственность

Не опирайтесь на тростник; колеблемый ветром, и не доверяйтесь ему; ибо всякая плоть, подобная растению, и слава его отцветает, как цветок на поле.

Подражание Иисусу Христу

Виоланта не виделась ни с кем, кроме Огюстена и нескольких деревенских детей. Только младшая сестра ее матери, проживавшая в нескольких часах езды в замке Жюлианж, иногда навещала Виоланту. Однажды она приехала к племяннице в сопровождении одного из своих друзей. Его звали Оноре и ему было шестнадцать лет. Он не понравился Виоланте, но приехал к ней вторично. Во время прогулки по аллеям парка он сообщил ей чрезвычайно неприличные вещи, о существовании которых она и не подозревала. Это доставило ей сладчайшее наслаждение, которого она тотчас же устыдилась. Затем, так как солнце уже зашло, а они долго гуляли, они уселись на скамью, вероятно, для того, чтобы взглянуть на отблески розового неба, смягчившего яркую поверхность моря. Оноре придвинулся поближе к Виоланте, чтобы ей не было холодно; с умышленной медлительностью застегнул мех на ее шею и предложил ей свое содействие для практического осуществления тех теорий, с которыми он познакомил ее в парке. Он приблизил свои губы к уху Виоланты, которая не отодвинулась от него, и хотел что-то ей шепнуть; но вдруг они услышали шорох. «Ничего!» — нежно сказал Оноре. «Это тетка», — сказала Виоланта. Это был ветер. Но Виоланта, которая уже поднялась со скамьи, очень кстати охлажденная этим ветром, не захотела снова сесть и распрощалась с Оноре, несмотря на его просьбы остаться. Угрызения совести мучили ее, у нее сделался нервный припадок, и два вечера подряд она долго не могла уснуть. Воспоминание о случившемся было для нее как бы жаркой подушкой, которую она без конца переворачивала. На третий день Оноре снова явился к ней. Она просила сказать ему, что ее нет дома. Оноре не поверил этому и не посмел прийти снова. На следующее лето она вспомнила об Оноре с нежностью и грустью, ибо знала, что он улпыл матросом на корабле. Сидя на той скамье, к которой он привел ее год назад, она в час, когда солнце скрывалось за морем, пыталась вспомнить склоненные к ней губы, его полузакрытые зеленые глаза, его беглый, как луч солнца, взгляд, согревавший ее своим живительным теплом. А сладостными ночами, долгими и сокровенными, когда уверенность в том, что никто не может увидеть ее, возбуждала ее желания, — она слышала голос Оноре, нашептывающий ей запретные слова. Он преследовал ее, настойчивый и покорный, как искуситель. Однажды вечером, во время обеда, она с грустью посмотрела на сидящего напротив нее управляющего и сказала:

— Мне очень грустно, Огюстен, никто не любит меня.

— Однако, — возразил Огюстен, — я слышал, как дней восемь назад, когда я приводил в порядок библиотеку в Жюлианже, о вас сказали: «Как она прекрасна!»

— Кто сказал? — печально спросила Виоланта.

Слабая улыбка вяло приподняла уголок ее губ, словно кто-то пытался приподнять занавеску окна, чтобы впустить радостный день.

— Молодой человек, который был в прошлом году — господин Оноре...

— Я думала, что он в плавании, — сказала Виоланта.

— Он вернулся, — ответил Огюстен.

Виоланта тотчас же встала и, почти шатаясь от волнения, направилась в свою комнату написать Оноре, чтобы он приехал. Взяв ручку, она испытала еще неведомое ей ощущение счастья и собственной власти; она почувствовала, что отчасти устраивает свою жизнь по своему собственному капризу и для своего собственного удовольствия; почувствовала, что может, несмотря ни на что, слегка подтолкнуть пальцем колесо судьбы, державшей их так далеко друг от друга; что он появится ночью на террасе иным, чем является ей в жестоком исступлении неутоленных желаний; почувствовала, что ее небывалая нежность — ее непрерывный воображаемый роман — и реальность, действительно, сообщаются друг с другом невидимой аллеей; и она стремительно бросилась в эту аллею, чтобы достигнуть невозможное и силой своего воображения сделать его реальным. На следующий день она получила ответ от Оноре и, дрожа от волнения, отправилась читать его к той скамье, где он поцеловал ее. Он ей писал:

«Мадемуазель,

Я получил ваше письмо за час до отплытия корабля. Мы зашли в порт только на восемь дней, и я вернусь сюда лишь через четыре года. Благоволите сохранить память о почтительно и нежно преданном вам

Оноре».

И тогда, при виде той террасы, где он уже не мог появиться вновь, куда не придет никто, чтобы утолить ее желания, при виде моря, которое отнимало его у нее, предлагая взамен частицу своего таинственного и печального очарования, — очарования стихии, нам не подвластной, отражающей столько чужих небес и омывающей столько берегов, — Виоланта залилась слезами.

— Мой бедный Огюстен, — сказала она вечером, — у меня большое несчастье.

Из впервые обманутой чувственности возникла первая потребность в откровенности так же естественно, как она обычно возникает из впервые удовлетворенной любви. Она еще не знала любви. Спустя некоторое время она испытала любовные страдания; познала любовь тем единственным способом, которым она дает нам знать о себе.

Глава третья. Страдания любви

Виоланта влюбилась; иными словами, молодой англичанин по имени Лоренс сделался на несколько месяцев объектом всех, даже самых незначительных ее мыслей. Она один раз была вместе с ним на охоте и не могла понять, почему с тех пор желание видеть его владело ее мыслями, толкало ее на прогулки, где она могла бы встретить его, прогоняло от нее сон, нарушало ее покой и счастье. Виоланта была влюблена, но ею пренебрегали. Лоренс любил светскую жизнь; она тоже полюбила ее для того, чтобы последовать за Лоренсом. Но Лоренс не обратил никакого внимания на эту двадцатилетнюю деревенщину. Она заболела от огорчения и ревности и отправилась в О-де..., чтобы забыть Лоренса; но ее самолюбие было оскорблено тем, что ей предпочли столько же недостойных ее женщин, и для победы над ними она решила приобрести все их преимущества.

— Я покидаю тебя, мой добрый Огюстен, — сказала она. — Я отправляюсь к австрийскому двору.

— Избави Бог! Когда вы очутитесь в обществе столько же злых людей, вы перестанете помогать беднякам нашего края. Вы уже не будете резвиться в лесах с нашими детьми. Кто будет играть в церкви на органе? Мы уже не увидим вас рисующей деревенские пейзажи, и вы больше не будете писать для нас песен.

— Не беспокойся, Огюстен, — ответила Виоланта, — сохрани лишь для меня красоту замка и преданность крестьян Стири. Свет — только средство для меня. Он дает грубое, но непобедимое оружие; и если я хочу, чтобы когда-нибудь меня полюбили, я должна этим оружием владеть. И меня туда толкает беспокойство, какая-то потребность начать более реальную и менее созерцательную жизнь, чем та, какую я вела до сих пор. Я хочу, чтобы светская жизнь была для меня одновременно и отдыхом и школой. Как только мое положение будет упрочено и мой отдых кончен, я покину свет, чтобы вернуться в деревню к нашим добрым и простым людям и к моим песням, которые я предпочитаю больше всего. Когда пройдет определенный короткий срок, я вернусь в Стири, дорогой мой, чтобы жить подле тебя.

— Сможете ли вы вернуться? — спросил Огюстен.

— То, чего хочешь — сделаешь, — ответила Виоланта.

— Но, может быть, ваши желания изменятся...

— Почему? — спросила Виоланта.

— Потому что вы сами изменитесь, — ответил Огюстен.

Глава четвертая. Суетность светской жизни

Светские люди так посредственны, что Виоланте стоило лишь соблаговолить снизойти до их общества, чтобы затмить почти всех. Самые неприступные вельможи, самые избалованные артисты шли навстречу ее желаниям и ухаживали за ней. Она одна обладала умом, вкусом и походкой, которая будила представление о всех ее прочих совершенствах. Она диктовала моду на комедии, духи и платья. Швей, писатели, парикмахеры вымаливали ее протекции. Самая знаменитая портниха Австрии попросила у нее разрешения называться ее

постоянной портихой, самый прославленный князь Европы — разрешенная называться ее любовником. Она сочла своим долгом отказать обоим в этом знаке уважения, которым окончательно посвятила бы их в сан служителей изящного. Из числа молодых людей, просивших разрешения быть принятыми Виолантой, особенной настойчивостью отличался Лоренс. Но после того как он причинил ей столько горя, она почувствовала, что эти домогательства вызвали в ней отвращение. Эта низость отдала его от нее больше, чем прежде пренебрежение к ней. «Я не имею права возмущаться, — говорила она себе. — Я любила его не за его душевное благородство и я прекрасно понимала, не смея признаться себе в этом, что он низок. Это не мешало мне его любить, продолжая любить и душевное благородство. Я думала, что можно быть одновременно и низким, и достойным любви. Но как только перестаешь любить, снова начинаешь отдавать предпочтение людям, обладающим благородным сердцем. Какою странною была страсть к этому недостойному человеку, страсть головная и не оправданная чувственным заблуждением! Платоническая любовь стоит немного». Позже она имела возможность убедиться в том, что физическая любовь еще менее ценна.

Огюстен приехал повидаться с ней и хотел увезти ее обратно в Стири.

— Вы приобрели поистине королевскую власть, — сказал он. — Разве этого для вас недостаточно? Почему бы вам не сделаться прежней Виолантой?

— Только теперь я и приобрела эту власть, — ответила Виоланта, — позвольте мне хотя бы в течение нескольких месяцев от нее не отказываться.

Событие, которого Огюстен не предусмотрел, на время избавило Виоланту от мыслей о возвращении домой. Отвергнув десятка два светлостей, столько же владетельных князей и одного гения, просивших ее руки, она вышла замуж за герцога Богемского, обладавшего чрезвычайной привлекательностью и пятью миллионами дукатов. Весть о возвращении Оноре едва не расторгла этот брак накануне свадьбы. Но болезнь, которой он был поражен, изуродовала его и сделала его фамильярное обращение отвратительным для Виоланты. Она заплакала над суетностью своих желаний, которые когда-то были страстно устремлены к его цветущей плоти, теперь увядшей навсегда. Герцогиня Богемская продолжала очаровывать так же, как очаровывала Виоланта Стирийская; и огромное состояние герцога послужило лишь достойной рамой для произведения искусства, каким она являлась. Произведение искусства превратилось в предмет роскоши, согласно естественной склонности всех земных тел опускаться все ниже и ниже, подчиняясь всемирному закону тяготения. Огюстен удивлялся всему, что она сообщала ему о себе. «Почему, — писал он ей, — герцогиня непрерывно говорит о вещах, которые так презирала Виоланта?»

«Потому что я нравилась бы меньше, если бы была поглощена иными заботами, которые уже одним своим превосходством неприятны и непонятны светским людям. Но мне скучно, мой добрый Огюстен!»

Он приехал повидаться с ней и объяснил ей причину скуки.

— Ваша любовь к музыке, к размышлению, к благотворительности, к одиночеству больше не находит применения. Вас занимает успех, вас удерживают удовольствия. Но счастье можно найти только тогда, когда делаешь то, что любишь всей душой.

— Откуда ты знаешь это, раз ты сам ничего не испытал? — спросила Виоланта.

— Я размышлял над этим, — ответил Огюстен. — Но я надеюсь, что скоро вы почувствуете отвращение к этой пошлой жизни.

Виоланта все больше и больше скучала; она никогда уже не бывала веселой. И вот тогда безнравственность света, к которой до сей поры она относилась равнодушно, поразила и жестоко оскорбила ее. Так суровая погода сражает тело, ослабленное болезнью и неспособное к сопротивлению.

Однажды, когда она одна прогуливалась по пустынной улице, из экипажа, приближения которого она сначала не заметила, вышла какая-то дама и направилась прямо к ней. Подойдя, дама спросила, не Виоланта ли она Богемская, и представилась приятельницей ее покойной матери. Ей очень захотелось вновь увидеть маленькую Виоланту, которую она когда-то держала на коленях. Затем она взволнованно поцеловала ее, обняла за талию и стала так горячо целовать, что Виоланта, не простившись, бросилась бежать со всех ног. На следующий вечер Виоланта отправилась на бал в честь принцессы Мизенской, с которой не была знакома. В принцессе она узнала вчерашнюю даму. Одна из дам, вдова, к которой до сих пор Виоланта относилась с уважением, спросила у нее:

— Хотите, я представлю вас принцессе Мизенской?

— Нет! — ответила Виоланта.

— Не будьте такой робкой, — сказала вдова. — Я уверена, что вы ей понравитесь. Она очень любит красивых женщин.

С этого дня Виоланта приобрела двух смертельных врагов, принцессу и вдову, которые говорили повсюду, что она чудовищно горда и развратна. Виоланта узнала об этом и заплакала от жалости к самой себе и от сознания, что женщины так коварны. Она давно уже привыкла к коварству мужчин. Вскоре она начала каждый вечер говорить мужу:

— Послезавтра мы навсегда уедем в Стири.

Но как раз наступал вечер бала, на котором она надеялась веселиться больше, чем на других, и блеснуть лучшим своим платьем. Глубокая неудовлетворенная потребность в работе воображения, в творчестве, в одинокой созерцательной жизни и в самопожертвовании, доставляя ей страдания и мешая найти в светской жизни хотя бы тень радости, теперь уже слишком притупилась, перестала быть достаточно острой для того, чтобы заставить ее изменить жизнь, отказаться от света и выполнить предначертание своей судьбы. Она продолжала вести пышный и наскучивший ей образ жизни, и постепенно ее существование, которое могло стать очень значительным, сделалось почти ничтожным, являясь лишь печальной тенью благородной судьбы, чьи предначертания она могла бы выполнить, если бы не забывала о них с каждым днем все больше и больше. Великая потребность в любви к ближним, которая, как

морской прилив, могла бы омыть ее сердце, встречала на своем пути тысячи плотин, воздвигнутых эгоизмом, кокетством и честолюбием. Доброта нравилась ей теперь только как изящное занятие. Она еще была способна помогать другим, жертвуя деньгами, заботой и досугом, но часть ее души уже ей не принадлежала. Она еще читала и мечтала по утрам, лежа в кровати, но мысли ее были фальшивы, скользили по поверхности, и занята она была только самоанализом, сладострастно и кокетливо любовалась собой, как бы созерцая себя в зеркале. И если бы в это время ей доложили о приходе гостей — у нее не хватило бы силы воли отказать им в приеме, чтобы вновь вернуться к своим мечтаниям или чтению. Теперь в ее представлении очарования времен года существовали только для того, чтобы окрасить ее изящество. Зима сулила ей удовольствие быть кокетливо-зябкой, а веселье охоты сделало ее сердце недоступным грустному очарованию осени. Иногда, гуляя в одиночестве по лесу, она пыталась вновь отыскать естественный источник истинных радостей. Но мрачную красоту леса она нарушала ослепительной яркостью своих платьев. Наслаждаясь своей элегантностью, она не могла радоваться одиночеству и мечтам.

— Мы уедем завтра? — спрашивал герцог.

— Послезавтра, — отвечала Виоланта.

Потом он перестал спрашивать ее об этом. Горевавшему Огюстену Виоланта написала: «Я вернусь, когда немного состарюсь». — «Ах! — ответил Огюстен не раздумывая, — вы отдаете им свою молодость, вы никогда не вернетесь в Стири!»

И она не вернулась.

Будучи молодой, она оставалась в свете, чтобы испытывать на других царственную власть своего изящества, приобретенную ею почти в детские годы. На старости лет она осталась там для того, чтобы за эту власть бороться. Но борьба была напрасной. Она проиграла ее. И до самой смерти она все еще была поглощена попытками вновь завоевать потерянную власть. Огюстен рассчитывал на отвращение. Но он не принимал во внимание одной силы, побеждающей, если она питается тщеславием, и отвращение, и презрение, и скуку: эта сила — привычка.

Светская суетность и меломания Бувара и Пекюше[3]

I. Светская суетность

— Почему бы нам не вести светского образа жизни, раз наше общественное положение теперь упрочено? — спросил Бувар.

Пекюше был почти того же мнения; но для того чтобы блистать в свете, следовало бы изучить вопросы, которые там обсуждались.

Современная литература — вопрос первостепенной важности.

Они подписались на целый ряд различных журналов, пытались писать критические статьи, добиваясь изящества и легкости формы, руководствуясь той целью, какую себе поставили.

Бувар заявил, что всякая критика, даже преподнесенная в шуточной форме, в свете неуместна. И они решили вести беседы о прочитанном, подражая манере светских людей.

Бувар облакачивался о камин и осторожно, боясь запачкать, теребил в руках специально вынутые для этого перчатки. Пекюше он называл для полноты иллюзии то «мадам», то «генерал».

Часто они ограничивались только этим. Но случалось, что один из них обрушивался на какого-нибудь автора, в то время как другой тщетно пытался его остановить. Впрочем, они поносили всех. Леконт де Лиль был слишком бесстрастен, Верлен — слишком чувствителен. Они мечтали о золотой середине, не находя ее.

— Почему Лоти всегда однотонен?

— Все его романы построены на одной ноте.

— У его лиры только одна струна.

— Но и Андре Лори не лучше: он водит нас ежегодно по новым странам и смешивает литературу с географией. Только его форма, пожалуй, неплоха. Что касается Анри де Ренье, то это мистификатор или сумасшедший — одно из двух.

— Брось-ка ты это дело, старина, не этим ты вывезешь современную литературу из ужасного тупика, — говорил Бувар.

— Зачем их насиловать? — говорил Пекюше тоном снисходительного короля. — Может быть, в этих жеребятках течет горячая кровь. Дадим им волю; страшно только, как бы они не промчались мимо цели, если отпустить поводья. Но, в конце концов, даже экстравагантность является признаком богатой натуры.

— Но они сокрушат все барьеры! — кричал Пекюше. Он горячился, наполняя уединенную комнату шумным отрицанием всего и всех: в конце концов, можете говорить сколько вам угодно, что эти строчки разной длины — стихи, я отказываюсь принимать их за что-либо иное, кроме прозы, и к тому же — прозы, лишенной всякого смысла!

У Малларме тоже не больше таланта, чем у других, но зато он блестящий говорун. Какое несчастье, что такой одаренный человек сходит с ума каждый раз, когда берет в руки перо! Эта странная болезнь казалась им необъяснимой. Метерлинк пугает, но пугает грубыми, недостойными театра приемами; его искусство волнует нас подобно преступлению. Это ужасно. И кроме того, его синтаксис поистине жалок.

Они остроумно раскритиковали этот синтаксис, пародируя диалог глагольным спряжением: «Я сказал, что вошла женщина. — Ты сказал, что вошла женщина. — Вы сказали, что вошла женщина. — Почему сказали, что вошла женщина?»

Пекюше хотел послать этот отрывок в «Revue des Deux Mondes», но, послушавшись Бувара, решил сохранить его для того, чтобы выступить с ним в модном салоне. С первого же раза их оценят по заслугам! А затем они смогут дать его в какой-нибудь журнал, и те, кого они раньше других познакомят с этим образчиком остроумия, увидев его впоследствии в печати, вспомнят прошлое, польщенные тем, что они первые вкусили плодов этого остроумия.

Леметр, несмотря на весь его ум, казался им легкомысленным, непочтительным, то педантом, то мещанином; он слишком часто отрекался от самого себя. Особенно слабой была у него форма, но трудность творить к определенным срокам, разделенным друг от друга такими короткими промежутками времени, должна служить ему оправданием. Что касается Франса, то он хорошо пишет, но плохо мыслит, в противоположность Бурже: последний глубок, но его форма прискорбна. Их огорчала мысль, что так редко можно встретить всеобъемлющий талант.

«Однако не так трудно ясно выражать свои мысли», — думал Бувар. Но одной ясности недостаточно, необходимо еще: изящество (в сочетании с силой), живость, возвышенность мысли, логика и, по мнению Бувара, ирония. Пекюше находил, что ирония не обязательна, что часто она утомляет и, не принося никакой пользы читателю, сбивает его с толку. Короче говоря, все до одного пишут плохо. По мнению Бувара, в этом повинна чрезмерная погоня за оригинальностью; по мнению Пекюше — падение нравов.

— Будем достаточно смелы, чтобы в свете скрывать наши мнения, — сказал Бувар, — иначе мы прослышем клеветниками и, запугивая каждого, произведем скверное впечатление на всех. Лучше успокаивать, чем смущать. Наша оригинальность и так достаточно нам повредит. Придется даже скрывать ее. Можно не заговаривать в свете о литературе.

Но есть другие важные вопросы.

Как нужно кланяться? Отвешивая поклон всем телом или только наклоняя голову? Медленно или быстро? Оставаясь в обычной позе или сдвинув каблуки? Делая шаг вперед или застыв на месте? Выпрямившись или выгибая спину дугой? Должны ли руки висеть вдоль тела или следует держать шляпу? Должны ли они быть в перчатках? Нужно быть серьезным или улыбаться во время поклона? Но как же тогда, отвесивши поклон, моментально вернуться к прежней суровости?

Представить кого-нибудь в обществе тоже очень трудно. Чью фамилию нужно назвать раньше? Нужно ли, называя фамилию, указать на данное лицо рукой или кивком головы? Или следует сохранять полную неподвижность и равнодушный вид? Нужно ли кланяться одинаково старику и юноше, слесарю и принцу, актеру и академику? Утвердительный ответ удовлетворял сторонника равноправия Пекюше, но шокировал рассудительного Бувара.

Каким образом давать верный титул каждому?

«Мсье» называют и барона, и виконта, и графа; но фраза «здравствуйте, мсье маркиз», казалась им пошлой, а «здравствуйте, маркиз» — принимая во внимание их возраст, — слишком развязной.

Они примирились бы просто с «принцем» и «мсье герцогом», хотя это последнее обращение казалось им фамильярным. Добравшись до светлостей, они смутились; Бувар, заранее польщенный своими будущими связями, придумывал тысячу фраз, в которых этот титул склонялся во всех падежах. Он сопровождал свое обращение стыдливой улыбкой, слегка наклоняя голову и подпрыгивая. Но Пекюше заявлял, что он растеряется, будет беспрестанно путаться в словах или расхохочется принцу прямо в лицо. Короче говоря, чтобы не так смущаться, они лучше не пойдут в Сен-Жермен. Но его обитателей ведь можно встретить всюду. К тому же к титулам относятся с еще большим почтением в высших финансовых сферах, а что касается разночинцев, то у них титулов бесчисленное множество. Но, по мнению Пекюше, нужно быть непримиримым с псевдоаристократами и стараться не прибавлять к их именам частицы «де» даже на конвертах адресованных к ним писем или в разговоре с их слугами. Большой скептик Бувар видел в этом лишь новейшую манию, достойную такого же уважения, как и мания старых бар. К тому же, по их мнению, аристократии уже не существует с тех пор, как она лишилась своих привилегий. Она настроена клерикально, отстала от века, ничего не читает, ничего не делает и развлекается не меньше буржуазии; они считали нелепостью ее уважать. Можно только посещать аристократические дома, ибо эти посещения не мешают презирать хозяев.

Бувар объявил, что для того, чтобы знать, кого они будут посещать, куда отважатся показываться раз в год, где будут иметь постоянные знакомства, а где легкомысленную связь, — нужно сначала составить точный список всех членов парижского общества. В этот список должны войти обитатели Сен-Жермена, финансисты, разночинцы, члены протестантского общества, писатели, художники, актеры, чиновники и люди науки. По мнению Пекюше, Сен-Жерменское предместье под суровой внешностью скрывало распущенность старого режима. У каждого аристократа есть любовницы, монахиня и служитель церкви. Жители Сен-Жермена храбры, влезают в долги, разоряют ростовщиков и неизбежно являются защитниками чести. Они властвуют над всеми благодаря своему изяществу, придумывают экстравагантные моды; они примерные сыновья, почтительны в обращении с простонародьем и грубы с банкирами. Всегда со шлягой в руке или с женщиной за спиной в седле, они мечтают о возвращении монархизма; они ровно ничего не делают, но не высокомерны с хорошими людьми; обращая в бегство предателей и преследуя трусов, они своим рыцарским видом вызывают в нас неизменную симпатию.

Наоборот, мир солидных и сытых буржуа внушает одновременно уважение и отвращение. Богатый буржуа озабочен даже на веселом балу. Один из бесчисленных агентов обязательно придет на бал сообщить ему последние новости биржи, хотя бы уже было четыре часа утра; буржуа скрывает от своей жены свои самые удачные деловые операции и свое злостное банкротство. Никогда нельзя знать, властелин ли перед вами или плут; не предупреждая вас об этом, он поочередно выступает то в той, то в другой роли и, несмотря на свое огромное состояние, безжалостно выгоняет из квартиры бедного жильца, запоздавшего со взносом платы; он делает исключение только в том случае, если хочет превратить этого жильца в своего шпиона или вступить в связь с его дочерью. Его всегда видишь в экипаже, он одевается без всякого изящества и обычно носит монокль.

Они не чувствовали большой симпатии и к протестантскому обществу; это общество надменно, помогает только своим беднякам и состоит исключительно из пасторов. Их храм слишком напоминает дом, а дом скучен, как храм. К завтраку обязательно явится в гости по крайней мере один пастор. Прислуга поучает своих господ, цитируя библейские изречения; протестанты слишком боятся веселья, для того чтобы не иметь тайн, и в разговоре с католиками дают почувствовать, что их злоба по поводу отмены Нантского эдикта и Варфоломеевской ночи навеки неослабна.

Мир богемы тоже обособлен, характер его совсем иной. Житель богемы всегда распутен, всегда не в ладах со своей семьей, никогда не носит твердых шляп и говорит на особенном языке. Вся их жизнь проходит в том, что они проделывают различные штуки над чиновниками, пришедшими их арестовать, и придумывают забавные костюмы для маскарадов. Тем не менее они неизменно создают шедевры, и для большинства из них злоупотребление вином и женщинами является даже необходимым условием вдохновения, если не гениальности; они спят днем, разгуливают по ночам, работают неизвестно когда и, с запрокинутой назад головой, с развевающимся по ветру мягким галстуком, непрерывно скручивают себе папиросы.

Театральный мир мало отличается от богемы. Здесь семейная жизнь совсем не привилась; здесь все не от мира сего и все бесконечно великодушно. Хотя актеры тщеславны и завистливы, все же они постоянно оказывают услуги своим товарищам, аплодируют их успеху и усыновляют детей чахоточных или несчастных актрис; они всегда желанны в светском обществе, хотя, не получив образования, часто бывают набожны и всегда суеверны. Тех же из них, которые служат в субсидируемых театрах, нужно выделить; они во всех отношениях достойны нашего восхищения и заслуживают быть посаженными за стол раньше генерала или принца; они обладают теми же душевными свойствами, что и герои великих произведений искусства, которых они изображают на сцене лучших театров. У них удивительная память, а их манеры безукоризненны.

Что касается евреев, то Бувар и Пекюше, не осуждая их (потому что нужно быть либеральными), признавались, что ненавидят их общество. Все они в молодости продавали лорнеты в Германии и в точности сохранили в Париже — с благочестием, которому Бувар и Пекюше, в качестве беспристрастных людей, воздавали должное — свои обычаи, свой непонятный жаргон и своих специальных смеников. У них у всех крючковатый нос, исключительно ум, низкая и корыстная душа. В противоположность им, их женщины красивы, немного вялы, но способны на большое чувство. Скольким католичкам следовало бы подражать им! Но почему их богатство всегда неисчислимо и всегда скрывается? К тому же они образуют что-то вроде огромного тайного общества, как иезуиты или франкмасоны. Они хранят где-то неисчислимы сокровища, состоя на службе у каких-то неизвестных врагов и преследуя какую-то ужасную и таинственную цель.

II. Меломания

Когда велосипедный спорт и живопись надоели Бувару и Пекюше, они серьезно взялись за музыку. Но в то время как Пекюше — вечный друг традиции и порядка — провозгласил себя последним поклонником гривуазных песен и «черного домино», революционер Бувар (если считать его таковым) «смело объявил себя вагнерианцем». Откровенно говоря, он не знал ни одной партитуры «Берлинского крикуна» (как жестоко именовал его Пекюше, всегда плохо осведомленный и настроенный патриотично), ибо их нельзя услышать ни во Франции, где консерватория задыхается от рутины, исполняя лепет Колонны и Ламуре, ни в Мюнхене, где традиция не сохранилась, ни в Байрейте, зараженном нестерпимым снобизмом. Бессмысленно пытаться сыграть их на рояле: сцена необходима в такой же мере, как скрытый оркестр и темнота в зале. Однако увертюра из «Парсифаля» постоянно стояла открытой на его рояле между снимками с пера Цезаря Франка и «Весной» Боттичелли. Эта партитура была готова в любой момент обрушиться громом на головы его гостей. «Весенняя песня» была старательно вырвана из партитуры «Валькирии». На первой странице из оглавления опер Вагнера были с негодованием вычеркнуты красным карандашом оперы «Лоэнгрин» и «Тангейзер». Из первых опер имела право на бытие только «Риенци». Отрицание этой оперы сделалось банальным; настало время, как тонким нюхом почуял Бувар, провозгласить противоположное мнение. Гуно смешил его, Верди внушал желание кричать. Кто же, за исключением Эрика Сати, может сравниться с ним? Бетховен казался ему, однако, очень значительным, кем-то вроде Мессии. Даже сам Бувар мог, не унижая себя, приветствовать в Бахе его предтечу. Сен-Санс лишен глубины, а Массне недостаточно владеет формой, беспрестанно повторял он, обращаясь к Пекюше, в представлении которого, наоборот, Сен-Санс обладал исключительной глубиной, а Массне ничем другим, кроме формы.

— Вот почему один нас учит, а другой, не воспитывая, пленяет, — настаивал Пекюше.

По мнению Буvara, оба были одинаково достойны презрения. Массне набрел на какие-то новые, но вульгарные мысли, к тому же они уже отжили свой век. У Сен-Санса был какой-то свой стиль, но вышедший из моды. Мало знакомые с Гастоном Лемером, но забавляясь тем, что идут против века, они в красноречивых беседах сравнивали Шоссона и Шаминаду. И оба — Пекюше вопреки отвращению с точки зрения эстетики, а Бувар в силу врожденного французам рыцарства и почитания женщин — галантно уступали этой последней первое место среди современных композиторов.

Бувар осуждал музыку Шарля Леваде не столько как музыкант, сколько как демократ; разве останавливаться на устарелых стихах г-жи де Жирарден в наш век парашютов, всеобщего голосования и велосипедов не все равно, что противиться прогрессу?

Кроме того, Бувар как сторонник теории «искусства ради искусства» и поклонник игры и пения без нюансов заявлял, что не может слышать его романсов. Он считал, что в его музыке есть что-то от мушкетера, какое-то пошлое шутство, какое-то дешевое изящество устарелого сентиментализма.

Но объектом самых горячих споров являлся Рейнальдо Ганн. В то время как его интимные отношения с Массне постоянно вызывали жестокие насмешки со стороны Буvara, — в глазах страстного поклонника Пекюше они делали Ганна безжалостно терзаемой жертвой; Ганн обладал способностью приводить Пекюше в отчаяние своим восхищением перед Верленом — восхищением, которое к тому же разделял и Бувар. «Изучайте Жака Нормана, Сюлли Прюдома, виконта Борелли. Слава Богу, в стране трубадуров еще нет недостатка в поэтах», — добавлял он, воодушевленный патриотизмом. Под влиянием звучности старинной немецкой фамилии, с одной стороны, и южного имени — с другой, предпочитая, чтобы лучше исполняли его из ненависти к Вагнеру, чем защищали из уважения к Верди, он в заключение строго заявлял Бувару:

— Несмотря на старание всех этих ваших великолепных господ, наша прекрасная Франция остается страной ясности, и французская музыка будет или простой, или не будет существовать вовсе! — для большей убедительности он стучал кулаком по столу.

— Плюньте на чудачества, которые приходят к нам из-за Ла-Манша, и на туманности из-за Рейна. Перестаньте смотреть только по ту сторону Вогезских гор! — прибавлял он, бросая на Бувара пронзительно-строгий взгляд. — Сомнительно, чтобы «Валькирия» могла нравиться даже в Германии!.. Но для французских ушей она всегда будет какофонией. Прибавьте к этому — какофонией самой унижительной для нашей национальной гордости. К тому же разве эта опера не есть соединение самых ужасных диссонансов и самого возмутительного кровосмешения?! Ваша музыка, сударь, кишит чудовищами; и не знаешь, что еще можно выдумать! Даже в природе, хотя природа — мать простоты, вам нравится только все ужасное. Разве господин Деллафосс не пишет музыки на тему о летучих мышах? Разве экстравагантностью композитора он не испортит свою давнишнюю славу пианиста? Почему бы ему не выбрать какой-нибудь приятной птички? Музыка на тему о воробьях была бы в достаточной мере парижской; ласточка легкомысленна и грациозна, а жаворонок до такой степени французская птица, что говорят, будто Цезарь приказал своим солдатам наколоть жареных жаворонков на каски. Но летучие мыши! Француз, вечно жаждущий искренности и ясности, всегда будет гнущаться этими мрачными животными. В стихах господина Монтескье еще куда ни шло! При всей строгости можно простить эту фантазию пресыщенному вельможе. Но в музыке! Когда же напишут Реквием на смерть Кенгуру?

Эта удачная шутка расправляла морщины Бувара.

— Признайтесь, что я насмешил вас, — говорил Пекюше (с самодовольством, не заслуживающим порицания, ибо среди умных людей допускается сознание своих собственных достоинств). — Ударим-ка на этом по рукам, вы обезоружены!

Печальная дачная жизнь г-жи де Брейв

Франсуаза де Брейв долго колебалась в этот вечер, не зная, пойти ли ей на бал к принцессе Элизабет д'А..., в Оперу или в Комедию Ливрей.

У друзей, где она обедала, гости встали из-за стола уже более часа назад. Нужно было на чем-нибудь остановиться.

Ее подруга Женевьева, которая должна была уехать отсюда вместе с ней, стояла за бал у г-жи д'А..., в то время как г-жа де Брейв, сама не зная почему, предпочитала либо две другие возможности, либо третью — поехать домой и лечь спать. Доложили, что ее карета подана. Она все еще не приняла никакого решения.

— Право же, ты не любезна, — сказала Женевьева, — ведь ты же знаешь, я надеюсь, что там будет петь Резке, а это доставляет мне удовольствие. Можно подумать, что визит к Элизабет будет иметь для тебя важные последствия. А кроме того, в этом году ты не побывала ни на одном из ее званых вечеров, что не очень любезно с твоей стороны, принимая во внимание ваши близкие отношения.

После смерти своего мужа, оставившего ее четыре года назад двадцатилетней вдовой, Франсуаза почти ничего не предпринимала без Женевьевы и любила доставлять ей удовольствие. Она недолго противилась ее просьбе и, попрощавшись с хозяевами дома и гостями, опечаленными тем, что они так мало наслаждались присутствием одной из наиболее желанных в парижском обществе женщин, сказала лакею:

— К принцессе д'А...

Вечер у принцессы был очень скучен. Но вот г-жа де Брейв спросила у Женевьевы:

— Кто этот молодой человек, который провожал тебя в буфет?

— Это господин де Лалеанд, которого я, впрочем, совершенно не знаю. Хочешь, я представлю его тебе? Он просил меня об этом, я ответила ему неопределенно; он очень незначителен и скучен и не отошел бы от тебя, так как находит тебя очень красивой.

— О, в таком случае не нужно! — сказала Франсуаза. — К тому же он дурен собою и вульгарен, несмотря на довольно красивые глаза.

— Это правда, — сказала Женевьева. — Кроме того, ты будешь часто его встречать и это может тебя стеснить, если ты с ним познакомишься.

И она шутя добавила:

— Ну вот, если ты хочешь теперь сделать его своим другом, ты упускаешь великолепный случай.

— Да, великолепный случай, — сказала Франсуаза, уже думая о другом.

— В конце концов, — добавила Женевьева, охваченная угрызениями совести, ибо оказалась таким вероломным парламентаром и безо всякой причины лишила молодого человека удовольствия, — это один из последних вечеров в этом сезоне. Это знакомство не сулит ничего серьезного и, быть может, было бы любезней, если бы ты согласилась.

— Ну что ж, я согласна. Познакомь меня с ним, если он снова сюда подойдет.

Но он не подошел. Он был в противоположном конце зала.

— Нам пора уезжать, — сказала через некоторое время Женевьева.

— Побудем еще немного, — отвечала Франсуаза.

Из-за каприза, а главным образом из кокетства она начала смотреть, пожалуй, слишком пристально на этого молодого человека, который действительно должен был находить ее очень красивой. Она то отводила от него свой взгляд, то снова пристально смотрела на Лалеанда. Глядя на него, она старалась казаться ласковой, сама не зная ради чего; просто так, ради удовольствия, ради того удовольствия, которое испытываешь от благотворительности, от удовлетворенного самолюбия и вообще от всего бесполезного; ради удовольствия, заставляющего людей вырезать на коре дерева свои имена для прохожего, которого они никогда не увидят, и бросать в море бутылку.

Время шло, было уже поздно; де Лалеанд направился к двери, которая осталась открытой после того, как он вышел, и г-жа де Брейв видела, как он в глубине вестибюля протягивал свой номерок лакею.

— Ты права, пора уходить, — сказала она Женевьеве. Они встали. Но Женевьева отошла к приятелю, которому нужно было сказать ей несколько слов, и Франсуаза осталась одна в вестибюле.

В этот момент здесь не было никого, кроме де Лалеанда, который не мог отыскать своей палки. Франсуаза в последний раз позабылась тем, что посмотрела на него. Он прошел мимо нее, легко коснулся своим локтем ее локтя, остановился против нее и, делая вид, что продолжает искать палку, сказал:

— Приходите ко мне, Королевская улица, 5.

Это было так неожиданно, а де Лалеанд продолжал с таким усердием искать палку, что она никогда не могла впоследствии с точностью сказать, было ли это галлюцинацией. Ей стало страшно, и она подозвала к себе проходившего в этот момент мимо князя А..., чтобы сговориться с ним относительно совместной прогулки на завтра; она говорила с оживлением. Пока она беседовала, де Лалеанд уехал. Через несколько минут вернулась Женевьева, и обе женщины уехали. Г-жа де Брейв ничего не рассказала своей подруге; она была шокирована и польщена, но, в сущности говоря, очень равнодушна.

Через два дня, случайно вспомнив об этом, она усомнилась в том, действительно ли де Лалеанд произнес эти слова. Несмотря на свои старания, она не могла с точностью их вспомнить, подумала, что слышала их как бы во сне, и сказала себе, что прикосновение его локтя было лишь случайной неловкостью. Потом она перестала думать о де Лалеанде, и когда кто-нибудь случайно произносил его имя, она тотчас же вспоминала его лицо, совершенно забыв о случае в вестибюле.

Она встретила его снова на последнем вечере этого сезона (июнь подходил к концу), не решилась попросить, чтобы его представили, и, однако, несмотря на то что находила его почти уродливым и знала, что он не умен, очень хотела с ним познакомиться. Она подошла к Женевьеве и сказала:

— Познакомь меня все-таки с де Лалеандом. Я не люблю быть невежливой. Но не говори, что я просила тебя об этом. Это слишком бы меня обязало.

— Хорошо, когда он вернется сюда; в данный момент его здесь нет.

— Ну так поищи его.

— Может быть, он уже уехал.

— Да нет же! — живо возразила Франсуаза. — Он не мог уехать, еще слишком рано. О! уже двенадцать! Послушай, моя маленькая Женевьева, ведь это не так трудно. Прошлый раз ты ведь сама этого хотела. Я прошу тебя, это важно для меня.

Женевьева посмотрела на нее с некоторым удивлением и пошла разыскивать де Лалеанда; но он уже уехал.

— Ты видишь, что я была права, — сказала Женевьева, вернувшись к Франсуазе.

— Здесь невыносимо скучно, — сказала Франсуаза, — у меня болит голова, прошу тебя, уедем сейчас же.

Франсуаза не пропускала ни одной оперы, в смутной надежде принимала приглашения на все званые обеды. Прошло две недели, она больше не встретила де Лалеанда, и часто, просыпаясь среди ночи, придумывала способы, как бы с ним увидеться. Она знала, что он скучен и некрасив, но несмотря на это, он занимал ее больше, чем самые умные и очаровательные мужчины. Когда сезон кончился и больше уже не мог представиться случай встретиться с де Лалеандом, Франсуаза решила создать такой случай сама.

Однажды вечером она сказала Женевьеве:

— Не говорила ли ты мне о своем знакомстве с неким де Лалеандом?

— С Жаком Лалеандом? Он был представлен мне, но никогда не бывал у меня с визитом. Я совсем не поддерживаю с ним знакомства.

— Ну, так вот, я должна тебе сказать, что немного заинтересована, вернее — очень заинтересована в том, чтобы познакомиться с ним и встречаться не ради себя, а ради других. Причину, по всей вероятности, мне разрешат рассказать тебе не раньше, чем через месяц (в течение этого месяца она вместе с ним поддерживала бы эту ложь, для того чтобы не быть разоблаченной, и мысль, что только они двое знали бы об этой тайне, казалась ей сладкой). Я прошу тебя, устрой мне это, потому что сезон уже окончился и я не смогу с ним познакомиться.

Тесная дружба, столь облагораживающая, если она искренна, охраняла Женевьеву (как и Франсуазу) от любопытства — этого гнусного наслаждения большинства светских людей. Поэтому и Женевьеве ни на минуту не пришла в голову мысль расспрашивать свою подругу, и она принялась искать подходящего случая, всем сердцем желая найти его и сердясь на неудачу.

— Как жалко, что госпожа д'А... уехала! Правда, есть де Грумелло, но, в конце концов, это ничего не устраивает. Что я скажу ему? О, мне пришла в голову мысль! Де Лалеанд играет на виолончели, правда, довольно плохо, но это ничего не значит. Господин де Грумелло восхищается его игрой, а к тому же он так глуп и будет рад доставить тебе удовольствие. Но только одно меня останавливает: после того как ты всегда сторонилась де Грумелло, едва ли можно будет держать себя, как раньше, воспользовавшись его услугами. А с другой стороны — ты не захочешь пригласить его.

Но Франсуаза, покраснев от радости, воскликнула:

— Это неважно, если это нужно, я приглашу к себе всех разночинцев Парижа! О! Устрой это поскорей, моя маленькая Женевьева! Какая ты милая!

И Женевьева написала следующее:

«Вы знаете, мсье, что я всегда ишу случая доставить удовольствие моей подруге — г-же де Брейв, с которой вам, конечно, уже приходилось встречаться. Несколько раз, когда наш разговор касался игры на виолончели, она высказывала сожаление по поводу того, что ей ни разу не удалось услышать вашего близкого друга де Лалеанда. Не можете ли вы попросить его сыграть ради нее и ради меня? Теперь, когда нет больше балов, это не слишком затруднит вас и будет чрезвычайно любезно с вашей стороны.

С наилучшими пожеланиями

Алериувр Бюивр».

— Немедленно отнесите это письмо к де Грумелло, — сказала лакею Франсуаза. — Ответа не ждите, но попросите передать письмо при вас же.

На другой день Женевьева приказала отнести г-же де Брейв следующий ответ от Грумелло:

«Мадам,

Я был бы чрезмерно счастлив пойти навстречу вашему желанию и желанию г-жи де Брейв; я знаком с нею немного и питаю к ней живейшую и почтительнейшую симпатию. Я в отчаянии, что по несчастной случайности, всего два дня назад, г-н де Лалеанд уехал в Биарриц, где, увы, пробудет несколько месяцев.

Соблаговолите принять мои наилучшие пожелания

Грумелло».

Побледневшая Франсуаза бросилась к двери, чтобы запереть ее на ключ. Она едва успела это сделать. Рыдания уже подступили к горлу. До сих пор мысли ее были заняты измышлением романтических возможностей встреч и знакомства с ним; уверенная в том, что при малейшем желании она сможет воспользоваться этими возможностями, она жила этим желанием и этой надеждой, быть может, не отдавая себе в этом отчета. Но это желание вросло в ее сердце тысячью невидимых корней, пустивших ростки в ее самые сокровенные предощущения счастья и печали. И вот теперь это желание вырывали с корнем для того, чтобы обречь его на гибель. Она почувствовала, что душа ее растерзана, и вдруг, сквозь внезапно прояснившуюся ложь, увидела в глубине своей печали свою любовь.

Франсуаза с каждым днем все больше и больше отказывалась от всяких радостей. Самые глубокие из них, даже те, которые она вкушала в тесной близости со своей матерью или Женевьевой, занимаясь музыкой, чтением или отправляясь вместе с ними на прогулку, она воспринимала душой, объята печалью, не покидавшей ее ни на минуту. Невозможность поехать в Биарриц и твердо принятое решение не ехать туда, даже если бы это было возможно (дабы себя не компрометировать бессмысленным поступком в глазах де Лалеанда) — все это причиняло ей бесконечные страдания. Сама не понимая, за что ее подвергают таким пыткам, бедная маленькая жертва пугалась при мысли, что эти муки, пока не придет избавление, будут, может быть, тянуться месяцами, мешая спокойно спать и свободно мечтать.

Ее беспокоило также, что он, быть может, проедет через Париж, а она об этом не узнает. И боязнь вторично упустить счастье придала ей смелости: она отправила лакея к швейцару де Лалеанда и приказала справиться о нем. Швейцар ничего не знал.

Понимая, что ни один парус надежды уже не покажется в этом бурном море печали, простиравшемся до горизонта, за которым, казалось, уже не было ничего и кончался мир, она почувствовала, что готова на безумные поступки — на что именно, она еще не знала сама; и сделавшись своим собственным врачом, она разрешила себе для своего успокоения дать ему понять, что хотела его видеть, и написала де Грумелло следующее:

«Мсье,

Г-жа де Бюивр сообщила мне о вашем любезном намерении. Как я тронута и как благодарна вам! Но одна мысль беспокоит меня. Не нашел ли де Лалеанд нескромным мое желание? Если вам это неизвестно, спросите у него и ответьте мне, когда узнаете, всю правду. Это очень занимает меня, и своим ответом вы доставите мне удовольствие. Еще раз благодарю вас.

Примите уверения в моих наилучших чувствах

Веражин Брейв».

Час спустя лакей принес ей такое письмо:

«Не тревожьтесь, мадам, де Лалеанд не узнал о вашем желании послушать его. Я спросил у него, когда он сможет приехать ко мне, чтобы поиграть, не упоминая, по чьей просьбе я это делаю. Он ответил мне из Биаррица, что вернется не раньше января. Вам не за что благодарить меня. Самой большей радостью для меня было бы доставить хотя бы маленькую радость вам.

Грумелло».

Теперь уже ничего не оставалось делать. Она становилась все грустней и грустней, мучилась тем, что так огорчается сама и огорчает свою мать. Она поехала на несколько дней в деревню, а затем отправилась в Трувилль. Здесь она слышала, как говорили о желании де Лалеанда играть роль в свете; когда какой-то князь, изощряясь в любезности, спросил: «Чем я мог бы доставить вам удовольствие?» — она почти развеселилась при мысли, как он удивился бы, если бы она ответила ему искренне; и она затаила в себе всю упоительную горечь иронии этого контраста: между трудными поступками, совершенными ради того, чтобы понравиться ей, и маленьким, таким легким и невозможным поступком, который мог бы вернуть ей спокойствие, здоровье, ее собственное счастье и счастье ее близких. Она чувствовала себя немного лучше только в присутствии своих слуг, которые относились к ней с восхищением и, чувствуя ее печаль, прислуживали ей, не смея произнести ни слова. Их почтительное молчание и их печаль говорили ей о де Лалеанде. Она прислушивалась к этому молчанию с наслаждением и заставляла их подольше прислуживать ей за завтраком, чтобы отдалить момент, когда придут приятельницы и придется к чему-то себя принуждать. Ей хотелось бы подольше сохранить во рту этот горький и сладостный вкус разлитой вокруг нее печали, навеянной де Лалеандом. Ей хотелось бы, чтобы как можно больше людей были в его власти; ее утешало сознание, что печаль, разлитая в ее сердце, захватывала немного и окружающих; она хотела бы, чтобы в ее распоряжении были бессловесные и выносливые существа, которые томилась бы ее мукой. Иногда, отчаявшись, она решала написать ему или попросить кого-нибудь сделать это за нее; она готова была опозорить себя этим поступком: «теперь ей все было нипочем». Но было бы лучше, даже в интересах ее собственной любви, сохранить то светское достоинство, которое в будущем дало бы ей большую власть над ним, если бы когда-нибудь это будущее наступило. Она не хотела представить себе, что тесная близость может нарушить то впечатление, которое он на нее произвел, но прозорливой мыслью сквозь ослепление сердца провидела эту жестокую неизбежность. Если бы это случилось, она потеряла бы последнюю опору. И если бы неожиданно пришла какая-нибудь новая любовь, она не владела бы уже тем очарованием, которое все еще было в ее распоряжении теперь, и той властью, с помощью которой ей было так легко по возвращении в Париж сблизиться с де Лалеандом. Пытаясь отнестись к своим чувствам объективно, она говорила себе: «Я знаю, что он посредственный человек, и всегда считала его таким. Мое мнение о нем не изменилось и теперь. В мое сердце закралось смятение, но и оно не смогло изменить этого мнения. Все это так незначительно, и все же этим незначительным полна моя жизнь. Моя жизнь полна Жаком Лалеандом».

И произнося это имя, она тотчас же (на этот раз по бессознательной ассоциации и без самоанализа) вновь представляла его себе и испытывала от этого такое наслаждение и такую боль, что ей становилось ясным, сколь неважно, если он — посредственность, раз он причиняет ей страдание и радость, в сравнении с которыми все прочие — ничтожны. И хотя она думала, что это очарование рассеется, когда узнает его лучше, но все же отдавала этому миру всю реальность своей скорби и своего сладострастия. Одна фраза из «Мастеров Пения», слышанная ею на вечере у принцессы д'А..., обладала способностью особенно ясно вызывать в ее памяти образ де Лалеанда («*Dem Vogel der heut sang, dem war der Schnadel hold gewachsen*»). Помимо своей воли, она сделала эту фразу лейтмотивом де Лалеанда и, услышав ее однажды на концерте в Трувилле, разрыдалась. Время от времени, не слишком часто, чтобы не пресытиться этим, она запиралась в своей комнате, куда приказала перенести рояль, и закрыв глаза, чтобы лучше видеть де Лалеанда, играла эту фразу; это было ее единственной опьяняющей радостью, за которой наступало разочарование, — опиумом, без которого она не могла обойтись. Иногда она останавливалась, чтобы прислушаться к своей скорби — так склоняются к ручью, чтобы услышать его нежную и непрерывную жалобу, — и думала о предстоящем ей жестоком выборе между позором, за которым последует отчаяние ее близких, и

вечной печалью (в том случае, если она не уступит); она проклонила себя за то, что настолько искусно определила дозы наслаждения и страдания, входящие в состав ее любви, что не сумела ни отбросить ее с самого начала как нестерпимый яд, ни воспользоваться ею позже как лекарством. Она проклонила свою склонность к кокетству и к любопытству, благодаря которой ее глаза расцвели как цветы, чтобы прельстить молодого человека; благодаря этой же склонности она бросилась в глаза де Лалеанда — в его глаза, меткие как стрелы, и более сладостно-властные, чем уколы морфия. Она проклонила также свое воображение; оно с такой заботливостью вскормило ее любовь, что Франсуаза иногда задавала себе вопрос, не одно ли воображение, словно мать, породило на свет эту любовь, которая теперь властвует над своей матерью и мучит ее. Она проклонила также остроту своего ума, благодаря которой она так ловко, так хорошо и вместе с тем так плохо придумала столько романтических историй для встречи с ним, что невозможность их осуществления сделала их героев еще более близкими ей; она проклонила свою доброту и сердечную мягкость, которые отравили бы угрызениями совести и стыдом радость греховной любви, если бы она отдалась ему, свою столь непреклонную, столь упрямую, столь дерзновенную в преодолении препятствий волю в том случае, когда ею руководило желание невозможного, и столь слабую, столь вялую, столь надломленную не только тогда, когда ей приходилось противиться этому желанию, но всегда, когда ею руководило какое-нибудь иное чувство. И, наконец, она проклонила свою мысль во всех ее самых божественных проявлениях: тот высший дар, именуемый (за неимением настоящего названия) то интуицией поэта, то экстазом верующего, то глубоким пониманием природы и музыки, который вознес ее любовь на вершины, к недостижимым горизонтам, озаряя ее сверхъестественными лучами своего очарования. В свою очередь, этот дар взял от ее любви немного того очарования, которое наполняло собою сокровенную внутреннюю жизнь Франсуазы, посвятившей этой любви сокровища своего сердца и ума так, как посвящают сокровища церкви Мадонне. Она прислушивалась к стонам своего сердца по вечерам, на берегу моря. И меланхолия моря сделалась теперь сестрой ее меланхолии. Она проклонила то неизъяснимое ощущение тайны вещей, в глубину которой, как заходящее солнце в море, погружается наш разум, окруженный сиянием красоты. Она проклонила тайну за то, что та сделала ее любовь глубокой, нереальной и бесконечной, не уменьшив ее мучительности. «Потому что, — как сказал Бодлер об осенних предвечерних часах, — бывают такие ощущения, туманность которых не исключает их глубины, и нет острия пронзительней, чем острие бесконечного».

...И изнывал с самого рассвета на берегу, покрытом водорослями, храня в глубине сердца, словно стрелу в печени, мучительную рану, нанесенную великой Кипридой.

Феокрит. Циклоп

Недавно в Трувилле я встретился с г-жой де Брейв, которую знал в более счастливые для нее дни; ничто не может ее излечить. Если бы она любила де Лалеанда за его красоту или за ум, — чтобы отвлечь ее от этого, можно было бы найти юношу умней или красивей. Если бы ее привязывала к нему его доброта или любовь к ней — другой юноша мог бы попытаться полюбить ее еще глубже. Но де Лалеанд не обладал ни красотой, ни умом. Он не имел возможности проявить в отношении ее ни нежности, ни суровости, ни легкомыслия, ни преданности. Значит, она любит именно его, а не те заслуги и то очарование, которое в такой большой мере можно было бы найти у других; именно его-то она и любит, несмотря на его несовершенство и посредственность; ей суждено, следовательно, любить его, несмотря ни на что.

Знала ли она что-либо о нем, кроме того, что он повергал ее в отчаяние или блаженство? Самое красивое лицо, самый оригинальный ум не могли бы обладать тем исключительным, таинственным, единственным в своем роде отпечатком, благодаря которому ни у одного человека в мире испокон веков не было и не будет точного двойника. Если бы не Женевьева де Бюивр, которая без всякого умысла повела ее к г-же д'А..., ничего бы не случилось. Но благодаря сцеплению обстоятельств, она попала в заточение, сделалась жертвой беспричинного и поэтому неизлечимого недуга. Несомненно, что де Лалеанд, ведущий, вероятно, в Биаррице весьма посредственную жизнь, наполненную жалкими мечтами, был бы очень удивлен, узнав, что в душе г-жи де Брейв он ведет другую жизнь — исключительно напряженную, господствующую над всем и сметающую на своем пути все; жизнь столь же непрерывную и реальную, как и его собственная, но более богатую и одухотворенную. Как был бы он удивлен, если бы узнал, что его, на которого обычно никто не обращал внимания из-за его внешности, г-жа де Брейв призывает к себе всюду, где бы она ни находилась: в обществе самых талантливых людей, в самом чопорном салоне, среди исключительной по своей красоте природы. И призывая его, всеми любимая женщина становится невнимательной и равнодушной ко всему, кроме воспоминания об этом самозванце, в присутствии которого стирается все, как будто бы он один реален, а все присутствующие призрачны, как воспоминание или тени.

Совершает ли г-жа де Брейв прогулку с поэтом, завтракает ли у эрцгерцогини, читает ли в одиночестве, беседует ли с любимейшим другом, садится ли на лошадь или спит, — имя и образ де Лалеанда сладостно, жестоко и неизбежно висят над нею, как небо над головой. Она, ненавидевшая Биарриц, дошла до того, что находит во всем, имеющем отношение к нему, горестное и волнующее обаяние. Она беспокоится о живущих там людях, которые могут увидеть де Лалеанда, могут жить вместе с ним, не наслаждаясь этим. Этим людям она прощает все, и, не решаясь дать им какое-нибудь поручение, она задает им бесконечные вопросы и по временам удивляется, что никто не догадался о ее тайне, несмотря на то что она в разговоре так часто на нее намекает. Большой фотографический снимок Биаррица — почти единственное украшение ее комнаты. Она наделяет одного из гуляющих на этом снимке, лицо которого трудно различить, чертами де Лалеанда. Если бы она знала ту скверную музыку, которую он любит и исполняет, — эта достойная презрения музыка, несомненно, вытеснила бы из ее сердца симфонию Бетховена и музыкальные драмы Вагнера; Франсуаза из сентиментальности снизошла бы до его вкуса, и эта музыка приобрела бы очарование того, кто был причиной всех ее наслаждений и страданий. Иногда образ того, кого она видела в течение нескольких минут всего два-три раза, — того, кто занимал так мало места во внешних событиях ее жизни и так всепоглощающе заполнил ее мысли и сердце, — иногда этот образ мутнеет перед усталым взором ее памяти. Она уже не видит его, не помнит его лица, его фигуры и даже его глаз. Хотя этот образ — единственное, что у нее от него осталось.

Она безумствует при мысли, что может лишиться этого образа, что мучительное желание, так неразрывно связанное с ней, являющееся ее единственным прибежищем, — желание, которое так же дорого ей, как ее собственная жизнь — может исчезнуть, не оставив после себя ничего, кроме ощущения недомогания и боли, словно вызванных сновидением. Но вот, после минутного помутнения ее внутреннего зрения, образ де Лалеанда вновь возвращается к ней. Ее печаль может снова вступить в свои права, и для нее это — почти радость.

Как сможет г-жа де Брейв вернуться в Париж, раз он приедет туда лишь в январе? Что она будет делать до января? И что будут делать он и она после?

Раз двадцать я хотел отправиться в Биарриц и привезти оттуда де Лалеанда. Последствия этого поступка были бы, может быть, ужасны, но я не мог разбираться в этом: она запретила мне ехать. Но я мучаюсь, глядя, как эта необъяснимая любовь неустанно бьется в ее маленьких висках, как бы стараясь разбить их. Эта любовь дает ритм и минорный тон всей ее жизни. Часто она мечтает о том, что он приедет в Трувилль, подойдет к ней и скажет, что он ее любит. Она видит его: его глаза сверкают. Он говорит с ней тем матовым голосом сновидений, который одновременно и запрещает нам и заставляет нас слушать. Это он. Он говорит ей такие слова, от которых нас бросает в дрожь, даже если мы никогда не слышали их иначе, чем во сне, — слова, озаренные божественной улыбкой двух существ, чья судьба — соединиться. И тотчас же она просыпается от сознания, что два мира — мир реальности и мечты — параллельны друг другу и никогда не смогут слиться воедино, так же как не могут слиться тело и брошенная им тень. И тогда, вспомнив то мгновение в вестибюле, когда он коснулся своим локтем ее локтя, когда он предложил ей то тело, которое она могла бы, если бы захотела, сжимать теперь в своих объятиях, — тело, разлученное с нею, быть может, навсегда, она чувствует непреодолимое желание кричать от отчаяния и возмущения так, как кричат на погибающем судне.

И если во время прогулки по пляжу или по лесам она забывается на миг в нежном созерцании или в мечтах, под влиянием благоухания или заглушенной ветром песни, — она тотчас, как от сильного толчка в сердце, чувствует вновь свою мучительную рану, и над волнами, над листвой, в туманности горизонта леса или моря, вновь возникает перед нею образ ее невидимого и вездесущего победителя, сверкающего глазами сквозь тучи, как в тот день, когда он впервые предстал перед нею. Он убегает с колчаном в руке, пустив в нее еще одну стрелу.

Июль 1893

Исповедь молодой девушки

Плотские желания, вы влечете нас то в одну, то в другую сторону, но время проходит, и что вы несете за собой? Угрызения совести и душевную усталость. Часто выходишь с радостью в сердце, а возвращаешься с печалью, и вчерашние наслаждения омрачают утро. Так и радость плоти прельщает нас, но в конце концов ранит и убивает.

Подражание Христу. Кн. I гл. XVIII

Наконец близится избавление. Конечно, я стреляла неловко, я едва не промахнулась. Разумеется, лучше было бы умереть от первого выстрела, но в конце концов пули все же не извлекли и сердечные припадки уже начались. Это не может тянуться очень долго. Однако прошла уже неделя. Это может тянуться еще неделю! И в течение всех этих дней я не буду способна ни на что, кроме попыток вновь сковать себя этими ужасными цепями. Если бы я не была так слаба, если бы у меня хватило силы воли для того, чтобы встать и уехать, я хотела бы отправиться умирать в Убли, — в тот парк, где я проводила каждое лето вплоть до той поры, когда мне минуло пятнадцать. Нет местности, где воспоминание о моей матери было бы столь живым — до такой степени все здесь проникнуто ее присутствием, вернее, ее отсутствием. Разве тот, кто любит, не ощущает, что отсутствие любимого человека есть самое достоверное, самое реальное, самое незабываемое, самое надежное его присутствие?

Моя мать привозила меня в Убли в конце апреля, затем уезжала через два дня обратно, проводила вместе со мной два дня в середине мая, снова уезжала и приезжала за мной в конце июня. Эти столь краткие посещения доставляли мне самое сладостное, самое жестокое наслаждение. В течение этих двух дней она осыпала меня ласками, на которые обычно была скупа, желая укрепить мой характер и успокоить мою болезненную чувствительность. Два вечера подряд, пока оставалась в Убли, она подходила к моей кровати пожелать мне спокойной ночи по старой привычке, которую она оставила потому, что этим доставляла мне слишком большое наслаждение и муку. Я не могла заснуть, подзывая ее к себе снова и снова; в конце концов я уже не решалась звать ее и испытывала из-за этого еще более страстную потребность в ее близости; я придумывала все новые и новые предлоги; просила ее перевернуть мою горячую подушку или согреть в своих руках мои замерзшие ноги так, как только одна она умела это делать. Я отвечала ей на ее нежность еще большей нежностью, ибо чувствовала, что в эти моменты она действительно была собой и что ее обычная холодность стоила ей, должно быть, немало труда.

В день ее отъезда, в день отчаяния, когда, до последней минуты цепляясь за ее платье, я умоляла ее взять меня с собою в Париж, я великолепно отличала ее искренность от притворства; я чувствовала, что она разделяет мою печаль, несмотря на веселые и сердитые упреки «дурочка, чудачка», которыми она хотела заставить меня владеть собой. Я теперь еще испытываю волнение, вспоминая об одном из таких отъездов (прежнее глубокое волнение, не охлажденное теперешним мучительным поворотом моей судьбы), — об одном из таких отъездов, когда я впервые сделала сладостное открытие: обнаружила ее нежность, которая была так похожа на мою, но превосходила ее. Я предчувствовала это открытие, я предугадывала его, но поступки моей матери, казалось, так часто ему противоречили. Мои самые сладостные воспоминания относятся к тому времени, когда она вернулась в Убли, призванная туда моей болезнью. Это было не только лишним посещением, на которое я не рассчитывала: особенно важно было то, что она вся как бы исходила нежностью и любовью, не таясь и не принуждая себя ни к чему. Даже тогда, когда эта нежность и любовь еще не сделались для меня сладостней и трогательней от сознания, что наступит день, когда я буду лишена их, — они уже были для меня так значительны, что очарование выздоровления навевало на меня смертельную печаль: приближался день выздоровления, когда моя мать сможет уехать, а до наступления этого дня я буду уже недостаточно больна для того, чтобы она не вернулась снова к своей прежней суровости и справедливости, перестав быть ко мне снисходительной.

Однажды дядя, у которого я гостила в Убли, скрыл от меня предстоящий приезд моей матери, так как радостное томление ожидания помешало бы мне, по его мнению, быть достаточно внимательной к маленькому кузену, ненадолго приехавшему ко мне в гости. Этот поступок дяди, быть может, был одним из главнейших, не зависящих от моей воли обстоятельств, которые способствовали проявлению моей склонности к греховному и запретному, склонности, присущей мне в такой же мере как и всем детям моего возраста. Этот маленький пятнадцатилетний кузен — мне было четырнадцать — уже тогда был очень порочен и сообщил мне о существовании таких вещей, которые заставили меня тотчас же содрогнуться от наслаждения и угрызений совести. Слушая его речи, позволяя ему ласкать мои руки, я испытывала радость, отравленную уже в самом своем источнике; вскоре я нашла в себе силы покинуть его; я убежала в парк, испытывая безумную потребность в присутствии моей матери, которая — увы! как мне было известно — находилась в Париже. Помимо своей воли, я громко призывала ее, разыскивая по всем аллеям, и вдруг, проходя мимо питомника, я увидела ее сидящей на скамье; она улыбалась и открывала мне свои объятия. Она приподняла вуаль, чтобы поцеловать меня; я бросилась к ней, прижалась к ее щеке, заливаясь слезами; я долго плакала, рассказывая ей с наивной откровенностью, которая возможна только в моем возрасте, обо всех скверных вещах, какие я только что узнала. Она сумела выслушать их с божественным спокойствием, как бы не понимая их смысла, стараясь уменьшить его значительность с такой добротой, которая снимала бремя с моей совести. Это бремя делалось все легче и легче; моя подавленная, униженная душа всплывала на поверхность, била через край, переполняла меня. Доброта моей матери и возвратившаяся ко мне невинность излучали нежность. Вскоре я почувствовала столь же чистый и нежный аромат. Это благоухала цветущая, невидимая ветка сирени, скрывавшаяся за зонтиком моей матери. На верхних ветвях деревьев распевали птицы. Повыше, меж зеленых верхушек, сквозило небо такой глубокой синевы, что казалось, будто оно — только преддверие другого неба, бесконечно высокого. Я поцеловала мать. Никогда уже мне не пришлось вновь испытать сладости этого поцелуя. Она снова уехала на следующий день, и этот отъезд был ужасней, чем все остальные.

Все эти расставания невольно давали мне представление о том, чем явилось бы для меня то непоправимое, что рано или поздно должно было случиться, хотя никогда в тот период я не представляла себе возможности пережить свою мать. Я решила покончить с собой немедленно после ее смерти. Позднее разлука научила меня еще более горьким истинам: я узнала, что к разлуке привыкаешь, а сознание того, что она уже не причиняет больше страданий, — самое глубокое, самое унижительное из всех страданий. Этим истинам впоследствии суждено было быть опровергнутым. Чаще всего я вспоминаю о том маленьком садике, где мы с матерью завтракали по утрам, где с нею вдвоем мы бесконечно много передумали. Эти мысли казались мне всегда грустными, важными, как символы, но нежными и бархатистыми; они были то цвета мальв, то фиалок, то почти черными, испещренными таинственным желтым узором; а некоторые из них казались мне совершенно белыми, недолговечными в своей непрочности. Теперь в памяти я собираю все эти мысли, словно цветы; их печаль возросла с тех пор, как они стали мне понятны, а их бархатистая нежность исчезла навсегда.

II

Как могла свежая струя воспоминаний еще раз забить ключом и проникнуть в мою порочную душу, не замутив своей чистоты? Какими чарами владеет утреннее благоухание сирени, если, просачиваясь сквозь смрадные испарения, оно не смешивается с ними и не ослабевает? Увы! А моя четырнадцатилетняя душа если еще и пробуждается, то так далеко от меня, как бы вне меня. Я знаю, что она уже не принадлежит мне и что не в моей власти ее вернуть. Тогда, однако, я не думала, что буду когда-нибудь сожалеть о ней. Она была только непорочной, а мне нужно было сделать её сильной и способной в будущем на более значительные поступки.

Часто после прогулки с матерью на берегу реки, где, играя, весело поблескивали лучи солнца и рыбы, или во время утренней и вечерней прогулки по полям я мечтала о своем будущем; но сколько я о нем ни думала — оно все же казалось мне недостойным ее любви и не соответствовало моему желанию нравиться ей и моим способностям. Мое воображение и смятенные чувства буйно призывали судьбу, достойную себя, и упорно стучались в мое сердце, словно желая открыть его и, покинув меня, ринуться в жизнь. И если тогда я прыгала изо всех сил, осыпала мою мать тысячью поцелуев, бросалась бежать впереди нее, как щенок, или, отставая, собирала маки и васильки и, испуская крики, приносила их ей, — я делала это не столько радуясь самой прогулке и этим букетам, сколько желая излить счастье, переполнявшее меня сознанием того, что жизнь моя вот-вот забьет ключом, прольется бесконечно широким потоком, заливая пространства более обширные и более пленительные, чем те леса, что простирались до самого горизонта, которого мне хотелось достигнуть одним прыжком. Венки из васильков, клевера и маков я сплетала в таком опьянении, с горящими глазами, вся трепеща. Вы заставляли меня смеяться и плакать оттого, что я вплетала в вас вместе с цветами мои тогдашние надежды; они засохли и сгнили, как и вы, и, не успев, как и вы, расцвести, вновь обратились в прах.

Моя мать приходила в отчаяние от моего слабоволия. Я делала все под влиянием минутного побуждения. Пока эти побуждения исходили от ума и сердца — моя жизнь, не будучи примерной, не была, однако, и недостойной. Мою мать и меня больше всего занимал вопрос о приведении в исполнение всех моих прекрасных намерений относительно работы, спокойствия, рассудительности, ибо мы обе чувствовали — она более ясно, я — смутно, но горячо, — что приведение в исполнение этих намерений зависит только от моей силы воли, которую моя мать тщетно старалась воспитать во мне. Но я откладывала работу над собой на завтра. Я не спешила; иногда меня огорчала мысль, что время идет; но сколько времени было еще впереди! Однако я испытывала некоторый страх; я смутно чувствовала, что привычка быть безвольной начинала с годами все больше и больше подавлять меня; мною овладела печаль, я поняла, что едва ли, не прилагая никаких усилий, можно надеяться на чудо, которое бы изменило мою жизнь и выковало мою волю. Недостаточно было о силе воли молчать. Нужно было именно то, на что я — безвольная — не была способна: этого добиваться.

И похоти неудержимый шквал

Рвет вашу плоть, как знамя старое.

Ш. Бодлер

Когда мне пошел шестнадцатый год, я пережила болезненный перелом. Для того чтобы развлечь меня, меня впервые начали вывозить в свет. Меня стали посещать молодые люди. Один из них был развратен и коварен. Он был и нежен и дерзок одновременно. В него-то я и влюбилась. Мои родные узнали об этом, но не вмешивались, не желая доставить мне слишком большого огорчения. Думая о нем все то время, когда его со мной не было, я кончила тем, что опустилась, делаясь, насколько это было доступно мне, похожей на него. Он склонял меня к скверным поступкам, почти исключительно из любопытства; потом приучил меня к скверным мыслям, возникновению которых я не могла воспрепятствовать силой воли — единственным могущественным средством, способным заставить их вернуться в ту адскую тьму, из которой они явились. Когда кончилась любовь, на ее место заступила привычка, и не было недостатка в безнравственных юношах, желавших ею воспользоваться. Сообщники моего греха, они делались его защитниками, стараясь оправдать грех перед моей совестью. Вначале я испытывала жесточайшие угрызения совести; я старалась в них покаяться, но мои родные не поняли, а приятели мои отговаривали меня от этих попыток. Они постепенно убеждали меня в том, что все девушки поступают так же и что родители только делают вид, что ничего не знают. В результате та непрерывная ложь, к которой я все время должна была прибегать, неизбежно вылилась в форму молчания. В это время мне уже жилось плохо; но я еще мечтала, размышляла и была способна на какие-то чувства.

Для того чтобы рассеять и прогнать от себя все эти низкие страсти, я стала усиленно выезжать в свет. Искушающие светские удовольствия приучили меня к постоянной жизни на людях, и вместе с любовью к одиночеству я утратила тайну радостей, которыми до сих пор дарили меня природа и искусство. Никогда я столь часто не посещала концертов, как в эти годы. Сидя в ложе, озабоченная желанием вызвать восхищение, я никогда еще не воспринимала музыку так поверхностно, как в ту пору. Я слушала, ничего не слыша, но если случайно музыка и долетала до моего слуха, мне все равно уже было недоступно, что таилось под ее покровом. Мои прогулки тоже были как бы поражены бесплодностью. То, что раньше делало меня счастливой на весь день: желтеющая в слабых лучах солнца трава, аромат, оброненный листьями вместе с последними каплями дождя, — все это потеряло для меня свое очарование. Леса, воды, небо, казалось, от меня отвернулись, и, когда, оставшись с ними с глазу на глаз, я пугливо вопрошала их, они не шептали мне больше в ответ тех неясных слов, которые восхищали меня когда-то.

И вот тогда, в поисках противоядия и не имея смелости спасти себя, — а спасение было так близко, и увы! так далеко от меня — во мне самой, — я вновь обратилась к греховным наслаждениям, думая разжечь этим пламя, притушенное светской жизнью. Но это было напрасно. Удовольствие нравиться окружающим мешало мне, со дня на день я откладывала окончательное решение — по своей собственной воле вернуться к одиночеству. Я не отказывалась ни от одного из этих двух пороков во имя другого. Я совмещала их. Что и говорить; каждый из них, стараясь опрокинуть все те препятствия ума и чувства, какие могли бы помешать другому, казалось, тем самым вызывал его: я выезжала в свет для того, чтобы найти успокоение после свершения греха, и я свершала новый грех, как только чувствовала успокоение. И в этот ужасный период, когда я потеряла невинность и еще не испытывала, как теперь, угрызений совести — в этот период, когда я была хуже, чем во все периоды моей жизни, — ко мне относились с особенным уважением. Раньше меня считали высокомерной и сумасбродной девочкой, теперь, наоборот, мое угасшее воображение пришлось по вкусу свету и услаждало его. В то время как я совершала по отношению к моей матери самый великий из грехов, меня считали примерной дочерью, судя по моему нежно-почтительному отношению к ней. После того как мысль моя сама убила себя, стали восхищаться моим умом, моими способностями. Моим угасшим воображением, моей иссякшей чувствительностью довольствовались люди, наиболее жаждущие духовной жизни, ибо их жажда была такой же притворной и лживой, как и тот источник, от которого они ждали утоления. К тому же никто не подозревал о моей преступной тайне, и в глазах всех я была идеальной молодой девушкой. Сколько родителей говорили тогда моей матери, что если бы не мое высокое происхождение и если бы они смели обо мне мечтать, — они не желали бы другой жены для своих сыновей! Однако в глубине моей притупленной совести я испытывала бешеный стыд от этих незаслуженных похвал; но этот стыд оставался в глубине совести, не достигая ее поверхности, и я так низко пала, что у меня хватало гнусности рассказывать со смехом об этом сообщникам моего греха.

Тому, кто потерял и не вернет вовек.

Ш. Бодлер

В ту зиму, когда мне пошел двадцатый год, здоровье моей матери, которое никогда не было крепким, очень пошатнулось. Я узнала, что у нее болезнь сердца, правда, не очень серьезная, но запрещавшая ей всякое волнение. Один из моих дядей сказал мне, что моя мать хотела бы, чтобы я вышла замуж. Я могла на деле доказать моей матери, как сильна была моя любовь к ней, и согласилась на первое предложение, которое она мне передала; отзывалась она о предложении одобрительно, указывая мне, таким образом, на необходимость изменить мою жизнь.

Мой жених был как раз тем человеком, который своим недюжинным умом, добротой и энергией мог бы иметь на меня самое благотворное влияние; к тому же он был согласен поселиться вместе с нами, а я могла не разлучаться с матерью, разлука с которой доставила бы мне самое жестокое страдание. Тогда-то у меня хватило смелости покаяться во всех своих прегрешениях духовнику. Я спросила его, должна ли я признаться в этом и моему жениху? Из жалости ко мне он отговорил меня от этого, но заставил меня покаяться в том, что я никогда больше не впаду в прегрешения. Затем он дал мне отпущение грехов. Запоздалые цветы, расцветшие под влиянием радости в моем сердце, казавшемся мне навсегда бесплодным, принесли плоды.

Вновь сделаться непорочным труднее, чем быть им постоянно, — я познала трудную добродетель. Никто не подозревал, что теперь я стояла духовно бесконечно выше, чем прежде, и моя мать продолжала ежедневно целовать меня в лоб, считая его по-прежнему чистым. Мало того, в этот период мне сделали в обществе несправедливые упреки за мой рассеянный вид, молчаливость и меланхолию. Но я не сердилась на это: тайна, которую мы хранили — я и моя удовлетворенная совесть, — доставляла мне немало наслаждений. Выздоровление моей души, которая напоминала мою мать и теперь улыбалась мне без конца и глядела на меня с нежным упреком сквозь высыхающие слезы, таило в себе бесконечные очарование и томление. Я не понимала, как я могла скверно обращаться с нею и причинять ей страдания, почти убивать ее.

Я наслаждалась этой глубокой, чистой радостью и холодной ясностью неба в тот вечер, когда все кончилось. Отсутствие моего жениха, уехавшего на два дня к своей сестре, и присутствие за обедом молодого человека, который более других был виновен в моих прежних прегрешениях, даже тенью печали не омрачали этого ясного майского вечера. На небе не было ни единой тучи, которая могла бы отразиться в моем сердце. К тому же, моя мать почти выздоровела; словно между моей душой и ею, несмотря на ее полное неведение моих прегрешений, существовала какая-то таинственная связь. «Необходимо оберегать ее от всяких волнений в течение двух недель, и после этого приступ болезни уже не повторится», — сказал доктор. Уже одни эти слова были для меня залогом того счастливого будущего, сладость которого вызывала слезы. В этот вечер моя мать была в более элегантном платье, чем обычно, и впервые после смерти моего отца — события десятилетней давности, — она украсила отделкой цвета мальвы свое обычно черное платье. Она была очень смущена тем, что оделась, как в дни своей молодости, и была опечалена и счастлива, что совершила насилие над своей скорбью и трауром для того, чтобы доставить мне удовольствие и отпраздновать мою радость. Я приложила к ее корсажу розовую гвоздику; она оттолкнула ее сначала, но затем, потому лишь что гвоздика была от меня, приколотла ее нерешительным и стыдливым движением руки. В то время, когда стали садиться за стол, я привлекла ее к себе и, стоя у окна, прильнула страстным поцелуем к ее нежному, отдохнувшему от миновавших страданий лицу. Я ошиблась, сказав, что никогда не испытала вновь сладости поцелуя в Убли. Поцелуй этого вечера был сладостней всех других. Вернее, это был тот самый поцелуй, что и в Убли: он тихонько выскользнул из глубины прошлого и опустился у моих губ на бледное лицо моей матери. Выпили за предстоящую свадьбу. Я никогда не пила ничего, кроме воды. Вино действовало слишком возбуждающе на мои нервы. Мой дядя заявил, что в такой день, как сегодня, я могла бы сделать исключение. Я как сейчас вижу то веселое выражение лица, с которым он произнес эти глупые слова... Боже мой! Я с таким спокойствием призналась во всем, неужели теперь я буду вынуждена остановиться? Я ничего больше не могу вспомнить! Нет... я помню, мой дядя сказал, что в такой день, как сегодня, я могла бы сделать исключение. Говоря это, он улыбаясь посмотрел на меня, я быстро выпила бокал вина, не взглянув на мать, из страха, что она запретит мне пить. Она тихо произнесла: «Никогда не нужно открывать злу даже самой маленькой лазейки». Но шампанское так освежало, что я выпила еще два бокала. Моя голова отяжелела, в одно и то же время я испытывала потребность и отдохнуть, и дать выход нервной энергии. Встали из-за стола. Жак подошел ко мне и, пристально глядя на меня, сказал:

— Уйдем отсюда, я хочу показать вам мои стихи.

Его прекрасные глаза нежно блистали на свежем лице, медлительным движением руки он закручивал усы. Я поняла, что гибну... у меня не было сил сопротивляться. Я вся трепетала, отвечая:

— Хорошо, это доставит мне удовольствие.

И вот тогда-то, произнося эти слова, а может быть, и еще раньше, в то время как я осушала второй бокал вина, — я совершила страшный поступок. После этого все произошло уже само собой. Мы заперли на ключ обе двери, он обнимал меня, обдавая своим дыханием мое лицо, скользя руками вдоль моего тела. И тогда, в то время как наслаждение охватывало меня все сильнее и сильнее, я почувствовала, как в глубине моей души рождается бесконечная печаль и отчаяние; мне казалось, что я заставляю плакать душу моей матери, душу моего ангела-хранителя. Я никогда не могла без содрогания читать описания пыток, которым злодеи подвергают животных, своих собственных жен и своих детей, мне почудилось теперь, что каждый раз, когда мы испытываем сладострастие, наше тело, наслаждаясь, жестоко терзает и заставляет плакать наши благие намерения и души наших непорочных ангелов.

Игра в карты подходила к концу, и мой дядя должен был вернуться. Мы должны вернуться до него, я не согрешу больше, это было в последний раз... И вот я увидела себя в зеркале над камином. Неясная тоска, терзавшая мою душу, не отразилась на моем лице; наоборот, все в нем, начиная со сверкающих глаз, кончая пылающими щеками и вызывающим ртом, дышало глупой и грубой чувственной радостью. Я представила себе ужас того человека, который увидел бы меня сейчас превратившейся в животное, после того как видел меня раньше целующей мою мать с меланхолической нежностью. Но тотчас же в зеркале, у самого моего лица появился жадный,

прикрытый усами рот Жака. Взволнованная до глубины души, я приблизила свое лицо к его лицу и вдруг увидела перед собой (я рассказываю так, как это было, выслушайте меня, раз у меня хватает сил говорить об этом), на балконе, у окна, — мою мать, в оцепенении смотревшую на меня. Я не знаю, крикнула ли она, я не услышала ничего, но она упала навзничь; ее голова застряла между двух перекладин балкона...

Я уже сказала вам, что едва не промахнулась, хотя целилась хорошо. Однако пулю извлечь не смогли, и начались сердечные припадки. Но это может продолжаться еще неделю, и все это время я не перестану обдумывать начало этого происшествия и видеть его конец. Пусть бы моя мать увидела, как я совершала все мои преступления, только бы она не уловила того радостного выражения лица, которое отразилось в зеркале. Нет, она не могла его видеть!.. Это совпадение... С ней случился удар за минуту до того, как она меня увидела... Она не уловила выражения моего лица... Этого не может быть!

Обед в городе

1. Обед

Но кто, Фунданий, разделит с тобой радости сей трапезы? Мне очень хотелось бы знать это.

Гораций

Оноре опоздал. Он поздоровался с хозяевами дома, с теми из гостей, кого знал и кого не знал, кое-кому его представили и перешли к столу. Минуту спустя его сосед, совсем юный молодой человек, попросил назвать ему гостей и рассказать о них. Оноре никогда не встречал его в свете. Он был очень красив. Хозяйка дома поминутно бросала на него пламенные взгляды, красноречиво говорившие, почему она его пригласила, и обещавшие, что скоро он войдет в круг ее друзей. Оноре почувствовал, что скоро тот будет могущественным, но без зависти, с вежливой благожелательностью стал ему отвечать. Он осмотрелся. Против него два соседа не раз говаривали друг с другом: из добрых побуждений их весьма некстати пригласили вместе и посадили рядом, оттого только, что оба они занимались литературой. Последнее обстоятельство являлось причиной их взаимной ненависти, но, кроме того, была и другая — особенная. Старший из них, родственник — вдвойне загипнотизированный — Поля Дежардена и Вогюэ, казнил презрительным молчанием младшего, любимого ученика Мориса Баресса, а этот младший, в свою очередь, смотрел на него иронически. Их недоброжелательность друг к другу увеличивала, впрочем помимо их воли, значительность каждого, словно здесь сошлись атаман разбойников и король дураков. Далее яростно ела гордая испанка. Не колеблясь и как человек серьезный, она в этот вечер пожертвовала свиданием ради надежды благодаря этому обеду в столь изысканном доме подвинуть вперед свою светскую карьеру. Несомненно, у нее было немало шансов на то, что расчет окажется верным. Снобизм г-жи Фремер и ее друзей был как бы гарантией против опасности обуржуазиться. Но случаю было угодно, чтобы именно в этот вечер г-жа Фремер приняла в своем доме людей, которых обычно пригласить на свои обеды она не могла, но по различным причинам желала оказать внимание. Правда, все это общество завершала собой герцогиня, но испанка уже была с ней знакома и больше извлечь из нее ничего не могла. Поэтому она обменивалась гневными взглядами с мужем, которого всегда можно было слышать на вечерах произносящим своим гортанным голосом несколько фраз с пятиминутными интервалами между ними: «Не представите ли вы меня герцогу?» — «Герцог, не представите ли вы меня герцогине?» — «Герцогиня, разрешите представить вам мою жену!» В отчаянии, что ему приходится терять время, он все-таки решился вступить в разговор со своим соседом, компаньоном хозяина дома. Уже более года Фремер умолял жену пригласить его. Она, наконец, уступила мольбам и запрятала его между мужем испанки и гуманистом. Гуманист, слишком много читавший, слишком много и ел. Он прибегал к цитатам и страдал отрывкой, и оба эти недостатка были в равной мере отвратительны гордой, хотя и из разночинцев, г-же Лемуар. Она быстро перевела разговор на победы принца Бюиврского в Дагомее и говорила растроганным голосом: «Милый мальчик, как меня радует, что он делает честь своей семье!» Действительно, она была кузиной Бюивров, которые все, будучи младше ее, относились к ней с почтением, достойным ее возраста, ее преданности королевской семье, ее крупного состояния и неизменного бесплодия трех ее браков. Она перенесла на всех Бюивров все родственные чувства, на какие только была способна. Она стыдилась ничтожества того, кто был судебным чиновником, и вокруг своего здравомыслящего чела, на своих орлеанских бандо, естественно, носила лавры того, кто был генералом. Путем хитрости проникшая в семью, до тех пор такую замкнутую, она стала главой ее. Она действительно чувствовала себя чужой в современном обществе и всегда с умилением говорила о «дворянах прежних времен». Ее снобизм был лишь в ее воображении. Имена, богатые прошлым и славой, имели странную власть над ее чувствительным умом; обеды в обществе принцев доставляли ей такие же бескорыстные радости, как чтение мемуаров старого режима. Украшенный все тем же виноградом, ее головной убор оставался неизменным, как ее принципы. Ее глаза сверкали глупостью. Ее улыбающееся лицо было благородно — а мимика невыразительна. Питая доверие к Богу, она приходила в такое же оптимистическое волнение накануне garden party, как и накануне революции, и начинала быстро жестиковать, как бы заклиная радикализм или дурную погоду. Ее сосед-гуманист беседовал с ней с утонченным изяществом и ужасающей легкостью речи; он приводил цитаты из Горация, чтобы извинить в глазах других и опозитизировать в собственных свою жадность и свою невоздержанность в напитках. Незримые розы, древние и все-таки свежие, венчали его узкий лоб. Но с одинаковой вежливостью, легко ей дававшейся, — ибо в ней она видела средство поупражнять свое могущество, — г-жа Лемуар каждые пять минут обращалась к компаньону г-на Фремера. Последнему, впрочем, не приходилось жаловаться.

С противоположного конца стола г-жа Фремер обращалась к нему с самой обворожительной лестью. Она хотела, чтобы этот обед был зачтен на много лет, и, решив, что очень не скоро позовет опять этого гостя, который был не к месту, хоронила его под цветами.

Что же касается г-на Фремера, который днем работал в банке и которого вечером жена либо тащила в свет, либо в дни приема удерживала дома, — г-н Фремер, всегда готовый все съесть, но всегда в наморднике, в конце концов дошел до того, что запечатлел на своем лице весьма сложное выражение: глухое раздражение, сердитую покорность, сдержанное ожесточение и полное обалдение. Но эти эмоции уступали место душевному удовлетворению всякий раз, когда взгляд финансиста встречался со взглядом его компаньона. Не выносивший его в обыденной жизни, он чувствовал к нему прилив минутной, но искренней нежности, не потому, что ему нетрудно было ослепить его своей роскошью, а в силу того смутного чувства братства, которое на чужбине волнует нас при виде француза, хотя бы и отвратительного. Он, которого каждый вечер так грубо отрывали от его привычек, так несправедливо лишали заслуженного покоя, испытывал наконец к кому-то симпатию, выведившую его за пределы его сурового и безнадежного одиночества.

Сидящая против него г-жа Фремер любовалась отражением своей белокурой красоты в восхищенных глазах гостей. Двойственная репутация, окружавшая ее, была обманчивой призмой, сквозь которую каждый пытался разглядеть ее подлинные черты. Честолюбивая интриганка, почти авантюристка, как говорили о ней в финансовом мире, покинутом ею для более блестящей карьеры, — она являлась ангелом кротости и добродетели для обитателей Сен-Жермена и королевской семьи, которую она завоевала, пользуясь репутацией исключительно умной женщины. Впрочем, она не забывала своих старых, более скромных друзей и вспоминала о них преимущественно тогда, когда они были больны или в горе, — трогательные обстоятельства, позволяющие не жаловаться на то, что тебя не приглашают в свет. В беседах у изголовья умирающего, с его родственниками или священником, она проливала искренние слезы, убивая одно за другим угрызения совести, которые ее слишком легкая жизнь будила в ее щепетильном сердце.

Но самой привлекательной гостьей была молодая герцогиня де Д..., живой и ясный ум которой, не знавший ни тревог, ни смятения, представлял такой странный контраст с меланхоличностью ее прекрасных глаз, пессимизмом ее губ, бесконечной и благородной усталостью ее рук. Эта ненасытная любительница жизни во всех ее проявлениях — доброты, литературы, театра, дружбы — кусала, словно ненужный цветок, свои алые губы, углы которых слегка приподнимала улыбка разочарования. Ее глаза, казалось, навсегда утонули в больных водах сожаления. Сколько раз на улице, в театре задумчивые прохожие зажигали свою мечту об эти изменчивые звезды. И даже теперь, вспоминая какой-то водевиль или раздумывая о туалете, герцогиня грустно смотрела вокруг глубоким, полным отчаяния взглядом, в грусти которого утопали впечатлительные гости. Свою изысканную речь она небрежно украшала поблекшим и столь очаровательным изяществом уже старинного скептицизма. Только что произошел спор, и эта женщина, такая непримиримая в жизни, находившая, что существует только одна манера одеваться, повторяла каждому: «Но почему же нельзя сказать все, думать все? Я могу быть права, вы тоже! Как это ужасно быть узким!» Ее ум, как и ее тело, не был одет по последней моде, и она охотно насмеялась над символистами и верующими. Но ее ум обладал свойством, присущим некоторым обворожительным женщинам, которые настолько хороши собой, что нравятся в старом и вышедшем из моды платье. Впрочем, возможно, что в этом было преднамеренное кокетство. Иные слишком смелые идеи заставили бы потускнеть ее ум, как заставили бы потускнеть ее краски иные тона, которых она не позволяла себе носить.

Эскиз этих разнообразных лиц Оноре набросал своему красивому соседу с такой благожелательностью, что все они казались одинаковыми — блестящая г-жа де Торрено, остроумная герцогиня де Д..., прекрасная г-жа Ленуар. Он оставил без внимания одну общую для них всех черту, вернее — коллективное помешательство, свирепствующую эпидемию, которой были заражены все поголовно, — снобизм. И все же, в зависимости от натуры, этот снобизм принимал различные формы: между основанным на воображении поэтическим снобизмом г-жи Ленуар и воинственным снобизмом г-жи де Торрено, жадной, как чиновник, который стремится пролезть вперед, — была большая разница. Однако эта ужасная женщина была способна на человеческие чувства. Ее сосед сказал ей, что любовался ее дочкой в парке Монсо. Она сейчас же прервала свое негодующее молчание. К этому невзрачному человечку она почувствовала благодарную и чистую симпатию, какую, быть может, неспособна была почувствовать к принцу, и теперь они беседовали, как старые друзья.

Г-жа Фремер руководила беседой с явным чувством удовлетворения, которое ей давало сознание, что она выполняет высокую миссию. Привыкшая представлять герцогиням великих писателей, она казалась самой себе своего рода всемогущим министром иностранных дел. Так зритель, который перебаривает в театре обед, видит стоящими ниже себя — уж раз он их судит — артистов, публику, автора, принципы драматического искусства. Беседа, впрочем, развертывалась гармонично. Это был тот момент обеда, когда мужчины касаются колен соседок или расспрашивают их о литературных вкусах, сообразно со своим темпераментом и воспитанием, а главное, сообразно со вкусом своей соседки. Одно мгновение срыв казался неизбежным. Красавец сосед Оноре со свойственным юности легкомыслием попробовал было намекнуть, что в произведениях Эредиа, быть может, больше мысли, чем обычно полагают, и гости, потревоженные в своих умственных привычках, насупились. Но г-жа Фремер сейчас же воскликнула: «Напротив, это всего лишь восхитительные камни, роскошные эмали, безукоризненные ювелирные безделушки», — и все лица оживились. Несколько серьезней оказался спор об анархистах. Но г-жа Фремер, словно склоняясь перед неизбежностью закона природы, медленно сказала: «К чему все это? Всегда будут и богатые и бедные». И все эти люди, беднейший из которых имел, по крайней мере, сто тысяч франков дохода, — все эти люди, пораженные этой истиной, избавленные от укоров совести, с душевной радостью осушили последний бокал шампанского.

II. После обеда

Оноре, чувствуя, что от выпитых вин у него слегка кружится голова, вышел не простившись, взял внизу свое пальто и пошел пешком через Елисейские поля. Он испытывал огромную радость. Барьер невозможности, который закрывает от наших желаний и нашей мечты поле действительности, был сломан, и он радостно мечтал о несбыточном.

Таинственные аллеи, которые ведут к каждому человеческому существу и в глубине которых каждый вечер, быть может, заходит неподозреваемое солнце радости или печали, влекли его к себе. Каждое лицо, о котором он думал, сейчас же становилось непреодолимо милым; он прошел всеми теми улицами, на которых мог надеяться встретить кого-нибудь из них, и если бы его предвидение сбылось, — он, не боясь, подошел бы к незнакомому или просто безразличному ему человеку. Декорация, поставленная слишком близко, упала, и вдали жизнь встала перед ним во всем очаровании своей новизны и тайны, привлекая его к себе. Но горькое сознание того, что это был только мираж или действительность одного вечера, повергло его в отчаяние. Он страдал лишь оттого, что не мог немедленно достичь всех тех прекрасных ландшафтов, что были расположены в бесконечности, далеко от него. И вдруг его поразил звук собственного голоса, грубоватого и резкого, который вот уже четверть часа повторял: «Жизнь печальна, какой идиотизм!» (Это последнее слово подчеркивал сухой жест правой руки, и он заметил неожиданно резкое движение своей трости.) Он с грустью подумал, что эти машинальные слова были очень банальной передачей видений, которые, быть может, были непередаваемы.

«Увы! Только интенсивность моей радости или моей печали возросла во сто крат, а интеллектуальный повествователь остается все тем же. Мое счастье — нервное, личное, непередаваемое другим, и, если бы я стал писать в этот момент, мой стиль отличался бы теми же достоинствами и теми же недостатками. Увы, был бы таким же посредственным, как и всегда». Но блаженное состояние, в котором он пребывал, не позволяло ему думать об этом дольше и немедленно даровало ему высшее утешение — забвение. Он вышел на бульвар. Проходили люди, которым он отдавал свою симпатию, уверенный в том, что она взаимна. Он чувствовал себя великолепным средоточием их внимания; он распахнул пальто, чтобы они видели белизну манишки его фрака и красную гвоздику в петлице. Таким являл

он себя восхищению прожорливым и нежности, сладостно его с ними соединившей.

Мечты в духе иных времен

Образ жизни поэта должен быть так прост, что впечатления самые обыденные должны его радовать, веселие его должно быть плодом солнечного луча, для его вдохновения должно быть достаточно воздуха, для его опьянения — воды.

Эмерсон

I. Тюильри

В это утро в Тюильри солнце постепенно засыпало на каждой из каменных ступеней, как светловолосый юноша, легкий сон которого прерывает тотчас же движущаяся мимо нить. У самых стен старого дворца зеленеют молодые побеги. Дыхание зачарованного ветра вносит в аромат прошлого свежий запах сирени. Статуи, которые на наших площадях пугают словно безумные, здесь, в буковых аллеях, под сенью сияющей зелени, охраняющей их белизну, задумчивы, как мудрецы. Бассейны, на дне которых нежится синее небо, сверкают, как взгляды. С террасы у самой воды видно, что на противоположном берегу, словно в былые века, проходит гусар, выйдя из старого квартала набережной д'Орсе. Из ваз, увитых геранями, буйно вырывается вьюнок. Горячий от солнца гелиотроп курит ароматы. Перед Лувром мальвы устремились ввысь, легкие, как мечты, благородные и изящные, как колонны, краснощекие, как молодые девушки. Искрящиеся на солнце и вздыхающие от любви фонтаны поднимаются к небу. В конце террасы каменный всадник, бешеным галопом несущийся на месте, прижимая к губам ликующий рожок, олицетворяет все буйство Весны.

Но небо заволочло, пойдет дождь, бассейны, в которых больше не сверкает ни один клочок лазури, кажутся невидящими глазами или вазами, полными слез. Нелепый фонтан, подхлестываемый ветром, все быстрее и быстрее возносит к небу свой гимн — теперь столь смешной. Бесплезная нежность сирени бесконечно печальна. А там, бросив поводья, в застывшем и яростном взлете, мраморными ногами горяча коня, несущегося головокружительным и неподвижным галопом, — на черном небе, не сознавая, без конца трубит всадник.

II. Версаль

Канал, который самого разговорчивого человека заставит замечаться и около которого я всегда бываю счастлив, весел или печален.

Письмо Бальзака к г-ну де Ламот-Эгрон

Истощенная осень, больше не согреваемая редким солнцем, теряет одну за другой свои последние краски. Пламенный багрянец ее листьев, пылавших таким огнем, что всю вторую половину дня и даже утром они создавали иллюзии ликующего заката, — погас. Одни только далии, индийские гвоздики и хризантемы, желтые, фиолетовые, белые и розовые, еще сверкают на мрачном и горестном лице осени. В шесть часов вечера, когда проходишь по Тюильри, однотонно-серому и обнаженному, под небом таким мрачным, где черные деревья каждой веткой говорят о своем отчаянии, одновременно могучем и бессильном, — куст этих осенних цветов, внезапно сверкнувший из темноты богатством своих красок, сладостно и резко поражает глаз, привыкший к пепельно-серым далям. Утренние часы нежнее. Солнце еще изредка сверкает, и, покидая террасу, у воды, вдоль широких каменных лестниц, я могу еще видеть, как передо мной спускается по ступенькам моя тень. Я не хотел бы назвать после многих других[4] твое имя, Версаль, — имя великое и нежное, покрытое ржавчиной времени, царственное кладбище листьев, обширных вод и мраморов, место поистине аристократическое и деморализующее, где нашу совесть не смущает даже мысль, что здесь жизнь стольких рабочих послужила только для того, чтобы уточнить и увеличить не столько радости иной эпохи, сколько меланхолии нашей. Мне не хотелось бы произносить твоего имени после многих других, а между тем, сколько раз из покрасневшей чащи твоих розово-мраморных бассейнов я пил до дна, до бредового состояния пьянящую и горькую сладость этих последних осенних дней. Земля, смешанная с увядшими и сгнившими листьями, казалась вдали темно-фиолетовой потускневшей мозаикой. Проходя мимо деревушки, приподняв от ветра воротник пальто, я слышал воркование голубей. Повсюду, как в вербное воскресенье, пьянил запах букса. Как удалось мне собрать скромный весенний букет в этих садах, разгромленных осенью! На воде ветер мял лепестки продрогшей розы. Среди этого великого листопада в Трианоне один только выгнутый легкий мостик белой герани подымал над ледяной водой свои едва склоненные ветром цветы. Несомненно, с тех пор, как я дышал морским ветром и солью в ложбинах Нормандии, с тех пор, как я видел сквозь ветки цветущего рододендрона сверкающее море, — я знаю, сколько грации может придать растениям близость воды. Но насколько более девственна чистота этой нежной белой герани, с грациозной сдержанностью склонившейся над зябкими водами, которые замкнуты набережной из мертвых листьев. О, посеребренная старость еще зеленых лесов, о, поникшие ветви, пруды и бассейны, благоговейной рукой разбросанные повсюду, словно урны, посвященные печали деревьев!

III. Прогулка

Хотя небо было так чисто и солнце уже посыпало тепло, — ветер дул все такой же холодный, деревья были такими же обнаженными, как зимой. Чтобы развести огонь, мне пришлось срезать одну из тех веток, которые я считал мертвыми, и из нее брызнул сок и замочил мою руку до локтя, — так под замерзшей корой обнаружилось трепетное сердце. Между стволами по-зимнему обнаженная земля заполнялась анемонами и фиалками, а реки, еще вчера темные и пустые, — нежным небом, синим и живым, погружавшимся в них до самого дна. Не тем бледным и утомленным небом прекрасных октябрьских вечеров, которое ложится на дно вод и, кажется, умирает там от любви и грусти, нет! — ярким и горячим небом, по нежной и смеющейся лазури которого ежеминутно проходили серо-голубые и розовые тени; то не были тени задумчивых облаков, а блестящие скользкие плавники окуня, угря или корюшки. Опьяненные радостью, они сновали между небом и травами в своих лугах и в своих лесах, которые сияющий гений весны наполнил таким же очарованием и блеском, как и наши. И, скользя свежей струей по их голове, между ребрами, под брюшком, воды тоже спешили, бежали журча и весело погоняя впереди себя солнце.

Не менее отрадно было видеть птичий двор, куда пришлось пойти за яйцами. Солнце, как поэт вдохновенный и плодовитый, который не боится распространить красоту на места наиболее скромные, которые до сих пор как будто искусство не интересовало, — солнце

согревало творческую силу навоза, нервно вымощенного двора и грушевого дерева, дряхлого, как старая служанка.

Но что это за особа в царственных одеждах, выступающая среди деревенской утвари, лапами чуть касаясь земли, словно из страха замарать их? Это птица Юноны, сверкающая не мертвыми камнями, а глазами самого Аргуса — павлин, чья баснословная роскошь здесь поражает. Так, в день праздника, за несколько минут до прибытия гостей, в платье с переливающимся тонами шлейфом, с парюрой на царственной шее, с эгреттами в волосах — блистающая хозяйка дома проходит своим двором на глазах у восхищенных, столпившихся у решетки зевак, чтобы отдать последние приказания либо ожидать прибытия принца крови, которого она должна встретить у самого порога.

Но нет, павлин проводит свою жизнь здесь — подлинная райская птица на птичьем дворе, среди индюшек и кур, как пленная Андромаха, которая прядет шерсть среди рабынь, но не покидая, как она, великолепия царских регалий и наследственных драгоценностей — Аполлона узнают всегда, даже и тогда, когда, сидя, он пасет стада Адмета.

IV. Семья, слушающая музыку

Для семьи поистине живой, в которой каждый мыслит, любит и действует, отрадно иметь сад. Вечерами, весенними, летними и осенними, окончив работу, все собираются в саду, и как бы ни был мал он, как близко ни отстояли бы одна от другой противоположные изгороди, они не настолько высоки, чтобы нельзя было видеть большой клочок неба, к которому каждый подымает глаза молча, в задумчивости. Ребенок думает о будущем: о доме, в котором он поселился с любимым товарищем, чтобы никогда не расставаться с ним, о неведомом земли и жизни; молодой человек думает о таинственном очаровании той, которую любит; молодая мать — о будущем своего ребенка; женщина, не знавшая раньше потрясений, вдруг обнаруживает под внешней холодностью мужа мучительное раскаяние, пробуждающее в ней сострадание. Отец, следя взглядом за дымом, поднимающимся где-то над крышей, останавливается мыслью на мирных сценах своего прошлого, которое в зачарованной дали озаряет вечерний свет; он думает о своей близкой смерти, о жизни детей своих после его смерти. И так душа всей семьи возносится к закату, а могучая липа, каштан или сосна посылает на нее благословение своего упоительного аромата или своей почтенной тени.

Но для семьи поистине живой, в которой каждый мыслит, любит и действует, — для семьи, имеющей душу, насколько отрадней, если душа эта может вечером воплотиться в голосе чистом и неиссякаемом, голосе молодой девушки или молодого человека, обладающих даром музыки или пения. Посторонний, проходя мимо сада, где семья пребывает в молчании, побоится своим приближением нарушить тот транс, в который все погружены; но если бы прохожий, не слыша пения, видел только родственников и друзей, это пение слушающих — он был бы почти уверен, что все они присутствуют на незримо совершающейся мессе, до такой степени, несмотря на различие поз, сходство в выражении лиц отразило бы подлинное единство душ, на один момент осуществившееся в сочувствии к одной и той же идеальной драме, в приобщении к одной и той же мечте. Как ветер клонит травы и гнет ветви, так минутами это дуновение заставляет головы склониться или подняться внезапно. И тогда, словно здесь незримый гонец ведет волнующий рассказ, все ждут со страхом, слушают, то в радостном возбуждении, то в ужасе одно и то же повествование, находящее, однако, в каждом свой отличный от других отклик. Томление музыки достигает наивысшего напряжения, взлеты ее сменяются страшным падением, за которым следует еще более резкий взлет вверх. Ее сияющая бесконечность, ее таинственный мрак являют перед стариком огромное полотно жизни и смерти; ребенку они сулят моря и земли; для влюбленного — это таинственная бесконечность, сияющий мрак любви. Мыслитель видит перед собой развернутой всю свою жизнь, в падении слабеющей мелодии — свое падение, свое бессилие, и дух его выпрямляется вновь, вновь устремляется ввысь, когда мелодия возобновляет свой полет. От могучего ропота гармоний вздрагивают темные глубины его воспоминаний. Человек действия задыхается в схватке аккордов, от галопа *vivace*: в *adagio* он величествен, он торжествует. Неверная жена чувствует свою вину прощенной, ничтожной, вину, имевшую также и неземные основания, — неудовлетворенность сердца, которое не могли успокоить привычные радости, которое заблудилось, но заблудилось в поисках тайны. Музыкант, хотя он и уверяет, что музыка дает ему одно лишь наслаждение техникой, испытывает те же знаменательные переживания, хотя они окутаны для него присущим ему острым чутьем чисто музыкальных красот. И, наконец, я сам, слушающий в музыке великую песню жизни и смерти, моря и неба, — я чувствую в ней и то, что делает твоё очарование наиболее своеобразным, неповторимым, о возлюбленная!

Парадоксы сегодняшнего дня суть предрассудки завтрашнего, раз самые грубые, самые неприятные предрассудки сегодняшнего дня в известный момент, когда мода ссудила их своей хрупкой грацией, могли казаться чем-то новым. Многие женщины наших дней желают освободиться от всех предрассудков, подразумевая под предрассудками принципы. Это-то и есть их самый тяжкий предрассудок, хотя они украшают себя им словно нежным цветком, несколько странным. Они полагают, что нет заднего плана ни в чем, и все рассматривают в одной плоскости. Они смакуют книги, — даже самую жизнь, как прекрасный день или апельсин. Они произносят слово «искусство», говоря о портнихе, или «философия», говоря о «парижской жизни». Они покрылись бы краской стыда, если бы им пришлось что-то оценивать, о чем-то судить, сказать: «Это хорошо, это плохо!» Раньше, когда женщина поступала хорошо, это было победой ее морали, т. е. ее мысли над ее инстинктом. Если теперь женщина поступает хорошо, то только вследствие победы инстинкта над моралью, т. е. над теоретической безнравственностью (пример: пьесы Галеви и Мейака). При крайнем ослаблении всех уз, и моральных и социальных, женщины колеблются между этой теоретической безнравственностью и инстинктивной добротой. Они ищут одного только сладострастия и находят его лишь тогда, когда не ищут, когда добровольно страдают. Такой скептицизм и такой дилетантизм в книгах неприятно поразил бы, как вышедший из моды наряд. И в вопросах моды на то или иное мирозерцание женщины не только не оракулы, но скорее не поспевающие за модой попугаи. Еще в наши дни дилетантизм им нравится и, пожалуй, им к лицу. Если он и делает неровным их поведение, то нельзя отрицать того, что он придает им уже поблекшую, но все еще милую грацию. Их постоянное отплытие к берегам духовной Киферы[5], где наслаждение находят не столько их притупленные чувства, сколько их воображение, их сердце, ум, глаза, обоняние, слух, — придает им позам некоторую сладострастность. Я полагаю, что самые зоркие из портретистов нашего времени не изобразят их чопорными. Их жизнь благоухает, как распущенные косы.

Честолюбие опьяняет больше, чем слава. От алчбы все расцветает, от обладания все увядает; провести всю жизнь в грезах лучше, чем прожить ее, хотя и жить значит тоже грезить, только не так таинственно и не так ясно грезить в тяжелом, темном сне, подобном состоянию сознания жвачных животных. Пьесы Шекспира, когда их смотришь из своей рабочей комнаты, кажутся прекрасней, чем когда видишь их на сцене. Поэты, создавшие вечные образы любовниц, часто знали одних служанок из гостиниц, между тем как сластолюбцы, наиболее внушающие зависть, не в состоянии постичь смысл жизни, которую они ведут, вернее, которая ведет их.

Я знал мальчика десяти лет со слабым здоровьем и не по летам развитым воображением, который глубоко полюбил девочку старше себя духовной любовью. Он часами просиживал у окна, чтобы увидеть ее, когда она будет проходить мимо, плакал, если не видел ее, еще больше плакал после того, как видел. Он редко бывал с нею. Он перестал есть, перестал спать. В один прекрасный день он выбросился из окна. Сначала думали, что он решился на смерть, не надеясь на то, что когда-нибудь соединится со своей подругой. Оказалось, что, напротив, перед тем он очень долго с ней говорил: она была чрезвычайно с ним мила. Тогда явилось предположение, что он предпочел отказаться от скучной жизни, предстоявшей ему, после того опьянения, какое, быть может, никогда не суждено было испытать вновь. Частые признания, которые он прежде делал одному из своих товарищей, навели на мысль, что он испытывал разочарование каждый раз, когда видел царицу своих грез; но лишь только она уходила, его богатое воображение возвращало девочке всю власть и у него снова являлось желание видеть ее. Каждый раз он пытался найти причину своих разочарований в случайных обстоятельствах, сопровождающих встречу. После этой последней встречи, когда он поставил свою подругу на высшую ступень совершенства, он, с отчаянием сравнивая это относительное совершенство с совершенством абсолютным, с каким он сжился, — он выбросился из окна. Став после этого идиотом, он прожил очень долго, забыв все, что думал, забыв голос своей подруги, которую встречал, не узнавая. Несмотря на мольбы и на угрозы, она вышла за него замуж и умерла много лет спустя, так и не добившись того, чтобы он узнал ее.

Такова и жизнь, как эта маленькая подруга. Мы грезим о ней и мы любим о ней грезить. Не нужно пытаться изживать ее: впадешь в идиотизм, как тот мальчик, но идиотизм придет не сразу, ибо все в жизни деградирует постепенно. Через десять лет уже не узнаешь своих снов, отказываешься от них, живешь как вол, ради того, чтобы в данный момент щипать траву.

— Капитан, — сказал вестовой несколько дней спустя после того, как тот поселился в маленьком домике, в котором, по выходе в отставку, должен был жить до самой смерти (больное сердце, конечно, не заставит долго ее ждать), — капитан, теперь, когда вам недоступна любовь, недоступна дуэль, может быть, развлекут вас книги. Что мне купить вам?

— Не покупай мне ничего. Не надо книг, они не расскажут мне ничего, что было бы так же интересно, как прожитая мною жизнь. Мне остается уже немного времени, и я не хочу отвлекаться от воспоминаний о ней. Дай мне ключ от большого сундука.

И он вынул письма — в сундуке их была целая груда — письма на белой и на цветной бумаге: очень длинные, совсем короткие, всего в одну строку, открытки, письма со вложенными в них засохшими цветами, краткие заметки, сделанные им самим, чтобы напомнить об обстоятельствах, при которых он их получил, и фотографии, испорченные, несмотря на принятые меры. Все это было зовом прошлого; многое он получил от женщин, теперь уже покойных, или от тех, с которыми не виделся более десяти лет.

Во всем этом говорилось о чувственности или нежности, не затрагивая событий его жизни; в целом это являло собой огромную фреску, которая с большой эмоциональной силой описывала его жизнь, не рассказывая ее, — описывала очень смутно и вместе с тем очень точно. В этом было живое воспоминание о поцелуях в губы, — свежие губы, на которых он не задумываясь оставил бы душу, если бы их от него не отвели — воспоминание, заставлявшее его долго плакать. И хотя он был так слаб и так разочарован, выпивая залпом немного этих еще живых воспоминаний, как выпил бы стакан горячего вина, созревшего на солнце, которое сожгло его жизнь, — но он чувствовал теплый приятный трепет, какой чувствуем мы весной, поправляясь после болезни, и зимой, когда склонившись сидим у очага. Сознание, что его старое изношенное тело когда-то горело этим огнем, побуждало его к жизни — горело этим всепожирающим пламенем. Потом, вспомнив, что тени движущиеся, увы! неуловимы, суть только тени и что скоро все они сольются в вечном мраке, он опять принимался рыдать.

И тогда, сознавая, что это только призраки, призраки огня, пламенеющего теперь где-то в другом месте, которого он никогда больше не увидит, — он все же начинал боготворить эти тени, обретать в них некую жизнь, контрастирующую с полным забытьем, какое скоро должно было наступить.

О, все эти поцелуи, все эти целованные волосы, и все лобзания и ласки, расточавшиеся затем, чтобы опьянить, и нарастающие, как музыка или как вечер! Такова возлюбленная, державшая его в плену так прочно, что ему все было безразлично, за исключением одного: отдать себя на служение ей, — возлюбленная, уходившая настолько прозрачной, что он больше не мог удержать ее, удержать аромат, который распространяли развевающиеся полы ее мантии. Он корчился от желания опять почувствовать пережитое, воскресить его и пригвоздить его перед собой, как бабочку. И с каждым разом это становилось труднее. Так он и не поймал ни одной бабочки, но каждый раз пальцами стирал волшебные краски с их крыльев; вернее, он видел их в зеркале и тщетно ударялся о стекло, чтобы прикоснуться к ним, и каждый раз зеркало только тускнело, а он видел их не такими отчетливыми и менее пленительными. И ничто не могло омыть это потускневшее зеркало его сердца теперь, когда больше не оведало его очищающее дыхание молодости или гения. Почему? В силу какого неведомого закона, управляющего нашей жизнью, какого таинственного равенства нашей осени?..

И с каждым разом притуплялась горечь потери — потери поцелуев, этого запаха, этого благоухания, которыми он раньше бредил.

И он был огорчен тем, что печаль уже не так сильна. Прошло время, и эта печаль исчезла. И затем ушли все печали, а радостям и ухаживать было нечего. Они давным-давно умчались, окрыленные, с цветущими ветвями в руках, покинули это жилище, недостаточно юное для них. Наконец, как все, он умер.

VIII. Реликвии

Я скупил все продававшиеся вещи той, другом которой мне так хотелось стать и которая не согласилась даже поговорить со мной. У меня колода маленьких карт, развлекавших ее по вечерам, обе маленькие обезьянки-уистити, три романа с ее гербом на переплете, ее собачка. Вам, вам принадлежали все свободные часы ее, наиболее неприкосновенные, наиболее тайные, и вы не наслаждались ими. Как наслаждался бы ими я, вы даже не желали их, вы не сознавали своего счастья и не можете поведать о нем!

Карты, которые она держала в своих пальцах каждый вечер, играя с любимыми из друзей, карты, которые видели, как она скучает или смеется, которые присутствовали при начале ее романа и которые она положила затем, чтобы поцеловать того, кто с тех пор приходил каждый вечер с ней играть; книги, которые она раскрывала и закрывала в постели, по воле прихоти или усталости, выбранные по минутному капризу; своей мечтой она их пронзала и собственные мечты примешивала к тем, какие в них были и помогали ей глубже уйти в грезы, — неужели вы ничего не удержали от нее, и неужели ничего мне не скажете?

Романы — ведь она мысленно следила за жизнью ваших героев и вашего автора; карты — ведь она по-своему вместе с вами переживала покой, а подчас и лихорадочность интимных мгновений, — неужели вы не сохранили ничего от ее мысли, которую мы то отвлекали, то заполняли, от ее сердца, которое вы раскрывали и утешали?

Дамы, короли, валеты — неподвижные гости самых безумных из ее празднеств; герои и героини романов, обступившие ее у постели, под перекрестным огнем ее лампы и ее глаз, задумчиво уходившие в свои тихие, но многоголосье сны, — вы не могли утратить всего аромата, которым пропитался воздух ее комнаты. Ткань ее платьев, прикосновение ее рук или колен.

Вы сохранили складки, которые вам придала ее рука, то радостная, то нервная; вы еще храните, быть может, знаки слез, что заставило ее проливать горе, книжное или житейское; эту живую окраску дал вам свет, который заставлял блистать ее глаза. Я с трепетом прикасаюсь к вам, боясь услышать от вас признания, встревоженный вашим молчанием. Увы! Быть может, она, как и вы, очаровательные и крепкие существа, была лишь бесчувственным, бессознательным свидетелем собственной грации. Ее подлинно-реальная красота пребывала, быть может, только в моем тяготении. Она прожила свою жизнь, но я один, быть может, воплотил ее в мечту.

Воспоминание о требовательности моего отца, о равнодушии Пии, об ожесточении моих врагов истощило меня больше, чем усталость после дороги. Общество Ассунты, ее пение, ее нежность по отношению ко мне, которого она так мало знала, ее красота, ее аромат, сохранившийся даже в порывах морского ветра, перо на ее шляпе, жемчуг вокруг ее шеи — все это днем меня развлекало. Но часов около девяти вечера, чувствуя себя подавленным, я попросил ее вернуться с экипажем, а меня оставить здесь отдохнуть на воздухе. Мы почти доехали до Онорлера; место было удачно выбрано у стены, у входа в двойную аллею, обсаженную большими деревьями, защищавшими от ветра; воздух был мягким; она согласилась и покинула меня. Я лег на траву, лицом к темному небу; меня укачивал шум моря, который я слышал позади себя. Очень скоро я задремал.

Вскоре мне приснилось, что передо мной закат солнца освещает вдали песок и море. Спускались сумерки, и мне казалось, что этот закат и эти сумерки были таким же закатом и такими же сумерками, как все другие. Но мне подали письмо, я хотел прочесть его и ничего не мог разобрать. Тогда только я заметил, что несмотря на впечатление, будто повсюду разлит сильный свет, было очень темно. Этот закат солнца был необычайно бледным, и на небе, магически освещенном, сгустился мрак и требовалось тягостное напряжение, чтобы разглядеть раковину. Среди сумерек, какие видишь во сне, это был словно закат больного и потерявшего краски солнца на берегу полярного моря. Мои огорчения вдруг рассеялись; решения, принятые моим отцом, чувства Пии, непорядочность моих врагов еще имели надо мной власть, но уже не подавляя меня, а только как необходимость, естественная и ставшая безразличной. Противоречие этого темного сверкания, чудо этого волшебного успокоения моих страданий не внушали мне ни малейшего недоверия, ни малейшего страха, но меня окутывало, заливало, затопляло все возрастающее чувство неги, упойтельная сила которого заставила меня в конце концов проснуться. Я открыл глаза. Сверкающий и тусклый, мой сон простирался вокруг меня. Стена, к которой я прислонился, чтобы спать, была залита светом, и тень плюща была на ней такой же живой, как в четыре часа дня. Листья голландского тополя, приподнятые неощутимым ветром, сверкали. Видны были волны и белые паруса на море, небо было чистым, взошла луна. Время от времени по ней пробегали легкие облака, и тогда они окрашивались в голубоватые тона, которые своей бледностью напоминали студень медузы или глубь опала. Но сверкавшего вокруг меня света глаза мои не находили нигде. Даже в траве держался мрак. Леса, канава были абсолютно черными. Вдруг, медленно, как тревога, назрел шум, быстро возрос и как будто прокатился по лесу. Это был шелест листьев, потревоженных легким ветром. Я слышал, как один за другим набегали они, словно волны, разбивались о всепоглощающий покой ночи. Потом и этот шум затих, пропал. Передо мной, по узкой полосе луга, заключенной между двумя тенистыми аллеями, казалось, река катила свои воды, замкнутые этими набережными из тени. Лунный свет, вырывая из мрака, поглотившего их, домик сторожа, листья, парус, не пробудил их. Среди этой тишины сна он освещал лишь смутное обличье их формы, не позволяя различить контуры, которые дым делал для меня такими реальными, подавляющими меня бесспорностью своего присутствия и неизменностью своего банального соседства. Дом без двери, крона дерева без ствола, почти без листьев, парус без барки казались не реальностью, жестоко неопровержимой и монотонной — обычной, а странным, зыбким и блестящим сном уснувших деревьев, утопающих во мраке. Действительно, никогда леса не спали таким глубоким сном; чувствовалось, что луна воспользовалась этим, чтобы устроить на небе и на море этот великий бледный и нежный праздник. Моя печаль рассеялась. Я слышал, как отец мой бранит меня, как Пиа смеется надо мной, как враги мои строят мне козни, и ничто из всего этого не принимал я за действительность. Единственной реальностью был этот нереальный свет, и я с улыбкой взывал к нему. Я не понимал, какое таинственное сходство связывало мои страдания с торжественными мистериями, совершавшимися в лесах, на небе и на море, но я чувствовал, что их утешение, их прощение были мне даны, и было неважно, что ум мой не постигает тайны, раз сердце мое так хорошо ее понимает. Я называл по имени святую мать ночи, моя печаль признала в луне свою бессмертную сестру, луна сверкала на преобразившейся скорбной ночи, и в моем сердце, в котором рассеялись тучи, взошла луна.

Но вот я услышал звук шагов. Ассунта шла ко мне. Я видел ее бледное лицо, возвышавшееся над широким темным плащом. Она мне сказала, слегка понижая голос: «Я боялась, что вам будет холодно; мой брат лег, я вернулась». Я приблизился к ней; я дрожал; она укрыла меня своим плащом и, чтобы он не упал, обвила мою шею рукой. Мы прошли несколько шагов под деревьями, в глубоком мраке. Что-то сверкнуло впереди, я не успел отступить назад и отскочил в сторону, полагая, что мы наткнулись на ствол, но препятствие ускользнуло из-под наших ног, мы наступили на пятно лунного света. Я приблизил ее голову к своей. Она улыбнулась, а я заплакал; я видел, что она тоже плачет. Тогда мы поняли, что луна плачет, и что ее печаль созвучна нашей. Ранящие и нежные звуки ее света проникали до самого сердца. Она плакала, как мы, и, как это бывает с нами почти всегда, она плакала, не зная отчего, но чувствуя так глубоко, что своим кротким отчаянием она неотразимо увлекала леса, поля, небо, которое снова отражалось в море, и мое сердце, которое, наконец, могло читать в ее сердце.

X. Источник слез, что таит в себе любовь минувшая

Возвращение романистов или героев к любви умершей, как ни было бы оно трогательно для читателя, к сожалению, весьма искусственно. Это контраст между безмерностью нашей прошлой любви и полнотой нашего настоящего безразличия; тысяча подробностей (имя, упомянутое в разговоре, письмо, найденное в ящике, встреча с самим человеком, или запоздавшее им обладание) заставляет нас осознать, что контраст этот, столь потрясающий в произведении искусства — в жизни мы холодно отмечаем именно потому, что настоящее наше состояние есть безразличие и забвение, и если возлюбленная и любовь нам еще нравятся, то любованье это эстетическое, ибо волнение, способность страдать исчезли с любовью. Острая печаль этого контраста — явление этического порядка. Она стала бы психологически реальна, если бы писатель познакомил с нею тогда, когда страсть зарождалась, а не тогда, когда любовь умерла.

Действительно, часто, когда, предупрежденные нашим опытом и нашей пронизательностью, мы начинаем любить — несмотря на протест нашего сердца, которому чувство, чувство обманное, говорит о вечности любви, — мы знаем, что наступит день, когда та, мыслью о которой мы живем, станет нам такой же безразличной, как сейчас безразличны нам все остальные люди... Настанет время, и мы услышим ее имя, не испытывая при этом мучительного наслаждения, мы без трепета будем смотреть на ее почерк, мы не свернем с пути, чтобы увидеть ее на улице, мы без смущения встретимся с нею, мы будем обладать ею без прежней страсти. Это верное

предвидение будущего, несмотря на нежность и такое глубоко предчувствие вечной любви, заставит нас тогда плакать, а любовь, которая еще встанет над нами, как божественное утро, нескончаемо таинственное и печальное, уделит нашей скорби часть своих безмерных далей, столь странных и глубоких, долю своего волшебного отчаяния...

XI. Дружба

Сладостно, когда ты печален, зарыться в теплую постель и, забыв о напряжении воли, о всяком сопротивлении, даже голову закрыв одеялом, отдаться всецело своему горю, стеная, как ветви под осенним ветром. Но есть ложе иное, лучшее, полное божественных ароматов. Эта наша нежная, наша глубокая, наша непостижимая дружба. Когда мне печально и холодно, я укутываю в нее свое сердце. Даже мысль мою зарывая в нашу горячую нежность, не воспринимая больше ничего извне и не желая уже защищаться, обезоруженный, но чудом нашей нежности, сейчас же подкрепленной и непобедимой, — я плачу от горя и от радости, что у меня есть кто-то, кому ввершишь их.

XII. Призрачная сила горя

Будем благодарны тем, кто дает нам счастье: они восхитительные садовники, насаждающие цветы в нашей душе. Но еще более будем благодарны коварным или хотя бы равнодушным женщинам, жестоким друзьям, причинившим нам горе. Они опустошили наше сердце, теперь усеянное обломками, они вырвали с корнями стволы и поломали самые нежные ветви, словно опустошительный ветер — ветер, заронивший в землю несколько добрых зерен для сомнительных всходов.

Разбив ряд маленьких радостей, укрывавших от нас нашу великую нищету, опустошив наше сердце, они позволили нам, наконец, увидеть наше сердце и его судить. Так же благотворны для нас грустные пьесы, поэтому их следует предпочитать веселым, которые обманывают, а не утоляют наш голод. Хлеб, который должен питать нас, горек. В счастливой жизни чужие судьбы не являются нам в своем подлинном виде; они искажаются нашим расчетом или страстями. Но в отрешенности, которую несет с собой страдание, в чувстве скорбной красоты, в театре, судьбы других людей и сама наша судьба дают, наконец, нашей напряженной душе возможность услышать вечные слова о долге и истине. Скорбное творчество подлинного художника говорит с нами этим голосом страдавших, который заставляет каждого страдавшего в жизни человека бросить немедленно все и слушать.

Увы! То, что чувство принесло — уносит этот ветреник, и печаль, которая выше веселья — недолговечной добродетели. Мы позабыли наутро и трагедию, которая вчера вечером вознесла нас так высоко, что мы обозрели всю свою жизнь. Пройдет год, и, быть может, мы забудем об измене женщины, о смерти друга. В эти обрывки сна, эти поблекшие и осыпавшиеся радости, ветер заронил доброе семя, орошенное дождем слез, но слезы высохнут слишком скоро, и семя не взойдет.

XIII. Похвала плохой музыке

Питайте отвращение к плохой музыке, но не презирайте ее. Ее исполняют гораздо чаще, с большим увлечением, чем прекрасную, и потому мечты и слезы людей ее пропитали. Уважайте ее за это. Ее роль, ничтожная в истории искусства, исключительна по своему значению в истории человеческого чувства. Уважение — я не говорю любовь — к плохой музыке есть не только своеобразное милосердие хорошего вкуса или проявление скептицизма. Нет, кроме этого, уважение есть сознание значительности социальной роли музыки. Сколько есть мелодий, в глазах музыканта не имеющих никакой цены, — мелодий, которым толпы романтических юношей и влюбленных поверяют свои чувства. Сколько «Золотых колец», страницы которых каждый вечер переворачивают дрожа прославленные руки и которые орошают слезами прекраснейшие в мире глаза, чьей печальной и сладостной дани позавидовал бы великий мастер, сколько «О, не просыпайся» — искусных и вдохновенных поверенных, которые облагораживают горе, питают мечту и взамен пламенного признания, сделанного им, даруют пьянящую иллюзию красоты. Иная невыносимая ритурнель, которую чуткое ухо откажется слушать, завоевывает тысячи душ, хранит тайну тысяч жизней, для которых она была вдохновением и утешением, всегда полураскрытым на пюпитре пианино. Иное арпеджио, иное «вступление» заставляли звучать в душе многих влюбленных, многих мечтателей, райские мелодии или голос любимой. Тетрадь скверных романсов, потрепанная от частого пользования, должна нас трогать, как кладбище. Что за беда, если на могилах безвкусные памятники с надписями. Из этого праха, перед воображением, исполненным симпатии и уважения, вспорхнет сонм душ, в клюве держа еще свежую мечту, позволявшую им радоваться или плакать в мире здешнем.

XIV. Встреча на берегу озера

Вчера, перед тем как отправиться обедать в Булонский лес, я получил письмо от Нее, в котором после восьмидневного перерыва она писала довольно холодно в ответ на отчаянное письмо о своем спасении, что ей не удастся проститься со мной до отъезда. А я довольно холодно ответил, что так, пожалуй, будет лучше и пожелал хорошо провести лето. Затем я оделся и в открытом экипаже поехал лесом. Я был глубоко печален, но спокоен. Я решил забыть, я твердо это решил: все дело в сроке.

Когда мой экипаж свернул в аллею близ озера, я заметил в конце узенькой тропинки, огибающей озеро в пятидесяти метрах от аллеи, женщину. Она шла медленно. Сначала я ее не разглядел. Но когда она, в знак приветствия, махнула рукой, я узнал ее, несмотря на разделявшее нас расстояние. Это была Она! Я приветствовал ее низким поклоном. А она продолжала смотреть на меня, словно хотела, чтобы я остановился и взял ее с собой. Я этого не сделал, но вскоре почувствовал, что сильно волнуясь. «Я так и знал!» — воскликнул я. Есть какая-то причина, известная мне, которая всегда заставляла ее притворяться равнодушной. Она любит меня, милая! Беспредельное счастье, непоколебимая уверенность преисполнили меня, я почувствовал, что теряю сознание, и разразился рыданиями. Экипаж подъезжал к Арменовиллю, я вытер глаза, и перед ними предстал, словно затем, чтобы осушить слезы, ласковый привет ее руки и взгляд ее слегка вопрошающих глаз, просящих разрешения сесть ко мне в экипаж.

Я приехал к обеду сияющим. Счастье побудило меня быть со всеми приветливым. Сознание, что никто из окружающих не знает, какая рука, маленькая ручка, приветствовала меня, зажгла во мне этот великий огонь радости, сияние которого все видели, — сознание это окрасило мое счастье очарованием тайного наслаждения. Поджидали только г-жу де Т..., и она скоро явилась. Это личность самая незначительная из всех, кого я знаю, и, несмотря на то, что сложена она скорее хорошо, чем дурно, — самая непривлекательная. Но я был слишком счастлив, чтобы не простить каждому его недостатки, его безобразия, и подошел к ней, приветливо улыбаясь.

— Только что вы были менее любезны, — сказала она.

— Только что? — повторил я, удивленный. — Только что я вас не видел.

— Как? Вы не узнали меня? Правда, вы были далеко. Я шла по берегу озера, вы гордо проехали в экипаже, я поздоровалась с вами жестом, и мне очень хотелось сесть к вам в экипаж, чтобы не опоздать.

— Как, это были вы? — воскликнул я и повторил несколько раз в отчаянии: — О, простите меня, простите!

— До чего у него несчастный вид! Поздравляю вас, Шарлотта, — сказала хозяйка дома. — Но успокойтесь же, раз вы теперь с нею.

Я был поражен. Счастье мое рухнуло.

Да. Но самым ужасным было то, что в глубине души я не хотел признать свою ошибку. Образ той, которая меня не любила, даже после того, как я понял свою ошибку, надолго изменил мое представление о ней. Я попытался исправить его, я стал забывать его еще медленнее, и часто, чтобы утешить себя, пытался поверить, что это были ее руки, как я это почувствовал сразу. Я закрывал глаза, чтобы снова увидеть посылавшие мне привет маленькие ее ручки, которые так нежно вытерли бы мне глаза, так нежно освежили бы мне лоб, — ее маленькие, затянутые в перчатки руки, которые она протягивала на берегу озера, словно символы мира, любви и примирения, в то время как глаза ее, грустные и вопрошающие, казались, просили меня взять ее с собой.

Как небо кровавое предупреждает прохожего: «там пожар», так иные пламенные взгляды говорят о страстях, хотя они служат только отражением их. Это пламя, отраженное в зеркале. Но бывает иной раз и так, что у людей равнодушных и веселых глаза огромны и темны, как горе, словно между душой их и глазами помещен фильтр, и в свои глаза они, так сказать, «процеживают» сквозь этот фильтр все живое содержимое своей души. Отныне согреваемая пылом их эгоизма — тем пылом, который привлекает других в такой же мере, в какой испепеляющая страсть отталкивает, — их очерстевшая душа будет не более как искусственным дворцом интриг. Но глаза их, не перестающие гореть любовью, которые слеза томления увлажнит, заставит засверкать, зальет, затопит, не сумеет погасить, — глаза эти будут поражать мир своим трагическим блеском. Две планеты, отныне не зависящие от своей души, планеты любви, огненные спутники навсегда угасшего мира — они до конца своих дней будут излучать обманчивый свет — лжепророки и клятвопреступники, обещающие любовь, которой их сердце не дает.

XVI. Сон

Твои слезы теплы для меня,
мои уста осушили твои слезы.

Анатоль Франс

Мне не нужно делать ни малейшего усилия, чтобы вспомнить, каким было в субботу (четыре дня назад) мое мнение о г-же Дороти Б... Случилось так, что как раз в этот день речь зашла о ней, и я был искренен, говоря, что не вижу в ней ни обаяния, ни ума. По-моему, ей года двадцать два или двадцать четыре. Впрочем, я ее знаю очень мало, и когда я говорил о ней, ни одно живое воспоминание не коснулось моего внимания, я видел перед глазами одни только буквы ее имени.

В субботу я лег спать довольно рано. Но часов около двух поднялся такой сильный ветер, что я вынужден был встать, чтобы закрыть ставень, который плохо держался на петлях и, стуча, разбудил меня. Мой короткий сон подкрепил меня, чему я обрадовался. Не успел я лечь, как снова заснул. Но через некоторый промежуток времени, определить который трудно, я мало-помалу пробудился для мира сновидений, сначала смутного, каким бывает мир реальный при обычном пробуждении, но затем принявшего более четкие формы. Я отдыхал не то на песчаном берегу Трувилля, не то в гамаке, подвешенном в незнакомом мне саду, и на меня с пристальной нежностью смотрела женщина. Это была г-жа Дороти Б... Я был удивлен не более, чем утром, когда, проснувшись, узнаю свою комнату. Также не удивляло меня и сверхъестественное очарование моей подруги, и чувство безмерной любви, чувственной и духовной одновременно, которое присутствие ее вызывало во мне. Великое чудо любви раскрывалось передо мной, и я испытывал бесконечную благодарность к ней — соучастнице моего счастья. Но она говорила мне:

— Ты с ума сошел! За что ты благодаришь меня, разве ты не сделал бы того же для меня?

Сознание, что я сделал бы для нее то же самое, доводило мою радость до бреда, как явный символ самого тесного единения. И я знал, словно пребывая одновременно и в ней и в себе, что это означало: «Все твои враги, все твои страдания, все твои сожаления, все твои слабости, что осталось от них?» И хотя я не произнес ни слова, она слышала, как я ответил ей, что она все без труда победила, все разрушила, сладкой истомой заморозила мое страдание. И она приблизилась, руками ласкала мою шею, медленно приподымала мои усы. Затем сказала: «Теперь идем к людям, войдем в жизнь». Счастье, почти непосильное для человека, преисполнило меня. Она захотела дать мне цветок, с груди своей достала чайную розу, хранившуюся на ее груди, и воткнула ее мне в петлицу. И я вдруг почувствовал, что опьянение усилилось от нового вида наслаждения. Это происходило от аромата, исходящего розой, воткнутой у меня в петлицу. Я видел, что моя радость смущает Дороти, приводит ее в непонятное волнение. В тот самый момент, когда ее веки свела легкая судорога, что бывает за секунду до того как заплачешь, — мои, а не ее, глаза наполнились слезами, — ее слезами, сказал бы я. Она придвинулась ко мне, подняла свою запрокинутую назад голову на уровень с моей щекой и, высунув язычок, собрала все мои слезы, повисшие на ресницах. Затем она проглотила их, произведя при этом губами легкий звук, который я воспринял как неведомый поцелуй, взволновавший меня гораздо глубже, чем поцелуй реальный.

Я проснулся внезапно, узнал свою комнату, и молниеносное воспоминание о счастье не столько предшествовало потрясающей уверенности в том, что оно обманно и невозможно, сколько слилось с этой уверенностью воедино. Но, несмотря на все доводы, Дороти Б... перестала быть для меня той женщиной, которой она была еще накануне. Легкий отпечаток, оставленный в моем воспоминании случайными встречами с ней, почти стерся, словно его смыл могучий прилив моря, которое уходя оставило неведомые следы. Я испытывал неудержимое желание увидеть ее еще раз, испытывал инстинктивную потребность, но колебался ей написать. Имя ее, упомянутое в разговоре, заставило меня вздрогнуть, но, тем не менее, вызвало образ незначительный, который до этой ночи этому имени сопутствовал. Для меня она была так же безразлична, как первая попавшаяся заурядная женщина, и, тем не менее, она влекла меня более властно, чем самые близкие мне любовницы или самая пьянящая судьба. Я бы не сделал и шагу для того, чтобы ее увидеть, в то время как для нее «иной» я отдал бы жизнь. С каждым часом слегка стирается воспоминание о сне, и без того искаженном этим рассказом. Я разжигаю этот сон все хуже и хуже, как книгу, которую хочешь читать за своим столом, когда угасающий день переходит в вечер. Чтобы представить его, я принужден минутами не думать о нем, как бываешь принужден зажмурить глаза для того, чтобы затем прочесть несколько букв в книге, когда сумерки ступились. Как бы ни стерлось воспоминание об этом сне — оно все еще глубоко волнует меня, волнует след, оставленный им, или неа его аромата. Но и это волнение исчезает, и я без смущения увижу г-жу Б... К чему, впрочем, говорить ей обо всех этих вещах, которым она осталась чуждой?

Увы! Любовь коснулась меня, как этот сон, с такой же таинственной силой преображенная. И вам, знающей ту, которую я люблю, и не участвовавшей в моем сне, вам меня не понять.

XVII. Жанровые картины воспоминания

Иные наши воспоминания точно голландская живопись нашей памяти, — жанровые картины, персонажи которых взяты вне

торжественных событий, в обстановке отнюдь не необычайной и не величественной. Естественность характеров и примитивность сцены составляют ее прелесть.

Моя жизнь в полку полна сцен в таком духе; я прожил ее без особенных радостей, без особенных горестей и вспоминаю о том времени с большой нежностью.

Деревенский характер местности, простота некоторых из моих товарищей — крестьян, более красивых, ловких, оригинальных и непосредственных, чем юноши, с какими мне приходилось встречаться; спокойствие жизни, в которой воображение менее поработано, чем в той, где нам сопутствуют неизменные удовольствия, — все способствует тому, чтобы в настоящее время эта эпоха моей жизни представлялась мне как бы серией картин, полных очарования, на которое время пролило свою нежную грусть и поэзию.

XVIII. Ветер в деревне

Я принесу тебе свежий мак

с пурпурными лепестками.

Феокрит. Циклоп

В саду, в роще, над полями с бешеным и бесполезным усердием ветер пытается развеять внезапно набежавшие на солнце тучи, яростно потрясая ветви молодняка, над которым они сначала нависли. Деревья, развешанное белье, хвост павлина, раскрытый веером, бросают в прозрачном воздухе синие, необычайно резкие тени, которые, не покидая земли, треплются по ветру, словно плохо запущенный змей. Такая смесь ветра и света делает этот уголок Шампани похожим на приморский пейзаж. Поднявшись до верху по дороге, обожженной светом, которая, задыхаясь от ветра, под ярким солнцем подымается к чистому небу, разве не море увидим мы, белое от солнца и пены? Вы пришли, как всегда, утром, с руками, полными цветов и нежных перьев, которые дикий голубь, ласточка или сойка уронили, пролетая над аллеей. Перышки дрожат на моей шляпе, цветок мака в моей петлице роняет лепестки. Вернемся скорей!

Дом трещит под ветром, как корабль, слышно как вздуваются незримые паруса, как бьются незримые флаги. Сберегите у себя на коленях эти свежие розы и дайте выплакаться моему сердцу в ваших сомкнутых руках.

XIX. Жемчуг

Я вернулся утром и лег, ежась от холода, содрогаясь от бреда, меланхоличного и ледяного. Только что в твоей комнате — твои вчерашние друзья, твои завтрашние планы (все равно, что враги и что заговоры, замысленные против меня) — твои мысли (все равно, что непроходимые трясины) отделяли меня от тебя. Теперь, когда я вдали от тебя, этого отсутствия ускользающей маски вечного отсутствия, которую поцелуи приподнимают очень скоро, мне кажется, было бы достаточно, чтобы показать мне твое настоящее лицо и осуществить желания моей любви. Нужно было уйти; печальный, холодный, я должен быть вдали от тебя. Но по какому внезапному волшебству знакомые сны нашего счастья опять возникают — густой дым над светлым и горячим пламенем — радостно и непрерывно возникают в моем мозгу? В моей руке, согретой под одеялом, ожил запах папирос, надушенных розой, которые ты заставила меня выкурить. Прижав губы к руке, я долго вдыхаю запах; согретый воспоминанием, он подымается густыми клубами нежности, счастья и «твоего» присутствия. О моя нежная, моя любимая! В момент, когда я могу обойтись без тебя, когда я радостно погружаюсь в воспоминание о тебе — оно наполняет мою комнату — и когда мне не нужно бороться с твоим непокорным телом, — говорю это тебе безрассудно, говорю это тебе бесповоротно, — я не могу обойтись без тебя. Твое присутствие дарует моей жизни печальную и теплую окраску жемчуга, который ночью покоится на твоём теле. Как жемчуг, я живу и печально согреваюсь твоим теплом, и, как он, я умру, если ты не оставишь меня с собой.

XX. Берега забвения

«Говорят, что смерть красит тех, кого она поражает и преувеличивает их добродетели, но ведь в большинстве-то случаев жизнь была несправедливой к умершим. Смерть, этот благоговейный и безупречный свидетель, учит нас во имя истины, во имя любви, что в каждом человеке хорошего больше, чем дурного». То, что Мишле говорит, быть может, особенно верно в отношении той смерти, что следует за несчастной любовью. Когда человек, который заставлял нас так много страдать, становится для нас ничем, — достаточно ли будет тогда сказать, как принято говорить: «он для нас умер»? Мертвых мы оплакиваем, мы еще любим их, мы долго чувствуем на себе притягательную силу их обаяния, которое пережило их и так часто приводит нас к их могиле. Напротив, человек, который дал нам испытать все, теперь уже не бросит на нас и тени горя или радости. Он более чем умер для нас. После того как он был для нас единственной ценностью в этой жизни, после того как мы его проклинали, после того как мы его презрели, — как можем мы судить о нем? Едва-едва мы различаем черты его лица, вставшего перед глазами нашей памяти, ослабевшими оттого, что так долго и так пристально смотрели на него. Но это суждение о любимом существе, суждение, которое так менялось, то терзая своей пронизательностью наше слепое сердце, то самоослепляясь, чтобы положить конец этому жестокому противоречию — суждение это должно в последний раз качнуться, как маятник. Как те пейзажи, что открываются взору только с вершин — с высоты суждения предстанет пред нами в своем действительном значении та, которая стала для нас более чем мертвой, а была нашей жизнью. Мы знали лишь одно, что она не отвечала на нашу любовь такой же любовью, теперь мы поняли, что она дарила нас истинной дружбой. Верно не то, что воспоминание приукрашивает ее, а то, что любовь была к ней несправедлива. Для того, кто хочет получить все, кажется бессмысленной жестокостью получить немного. Теперь мы поняли, что это был великодушный дар той, которую наше отчаяние, наша ирония, наша постоянная тирания не сломали. Многие из ее слов, переданных нам теперь, кажутся справедливыми и полными очарования. Мы же, напротив, говорили о ней с таким несправедливым эгоизмом и суровостью. И, в сущности, разве мы не обязаны ей многим? Пусть эта великая волна любви схлынула навсегда, мы все-таки можем собрать странные и очаровательные раковины и, поднеся их к уху, слушать с грустной радостью и не испытывая больше страданий, великий шум прошлого. И тогда с нежностью мы думаем о той, которая, на наше несчастье, любима была больше, чем сама любила. Она для нас уже не «более чем мертвая». Она умершая, о которой вспоминают с нежностью. Справедливость требует, чтобы мы исправили наше представление о ней. И она воскресает духом в нашем сердце, чтобы явиться на этот последний суд, который мы произносим над ней вдали от нее, спокойно, с глазами, полными слез.

XXI. Осязаемое присутствие

Мы любили в глухой деревушке Ангадина, имя которой вдвойне сладостно: в нем мечтательность немецких согласных тает в неге итальянских полнозвучий. Вокруг три озера зеленого небывалого оттенка, в озерах отражались сосновые леса. Глетчеры и остроконечные вершины замыкали горизонт. Вечером, благодаря множественности планов, освещение становилось более мягким. Нам никогда не забыть прогулки по берегу озера Сильс-Мария в шесть часов, когда день склонялся к закату. Лиственницы, которые кажутся такими черными и спокойными от соседства с ослепительными снегами, протягивали к бледно-голубой, почти лиловой воде свои зеленые, сочные и сверкающие ветви.

Раз как-то вечером выдался час, особенно для нас благоприятный; на протяжении всего лишь нескольких секунд заходящее солнце заставило воду постепенно принять всевозможные тона, а душу нашу испытать все виды наслаждения. Вдруг мы вздрогнули — бабочка, небольшая розовая бабочка, одна, две, пять; покинув наш берег, они порхали над озером. Очень скоро они превратились для нас в розовую пыль, взвешенную ветром; они подлетали к цветам противоположного берега, возвращались и опять начинали свой мягкий смелый полет, иногда задерживаясь, словно не в силах устоять против соблазна. Мы не в силах были совладать со своим волнением, и глаза наши наполнились слезами. Эти маленькие бабочки, пролетая над озером, вновь и вновь проносились над нашей душой, напряженной от волнения перед лицом такой красоты и готовой зазвучать, — вновь и вновь опускались на нашу душу, как томящий смычок. Своим легким движением они не касались воды, но ласкали наш глаз, наше сердце, и при каждом взмахе их крылышек мы были близки к потере сознания. Когда мы увидели, что они возвращаются с противоположного берега, показывая тем самым, что они играют над водами, — упоительная мелодия зазвучала для нас; а они тихо приближались, чертя прихотливые зигзаги, изменявшие эту первоначальную мелодию и создавая новую, причудливую. Наша зазвучавшая душа слышала в их полете музыку очарований и свободы, и нежные сильные мелодии озера, лесов, неба и нашей собственной жизни вторили ей с волшебной нежностью, вызвавшей на глазах наших слезы.

Я никогда не говорил с тобой, и даже ты была далеко от меня в тот год. Но как мы любили тогда в Ангадине! Я всегда так в тебе нуждался и никогда не оставлял тебя дома. Ты сопровождала меня в моих прогулках, ела за моим столом, спала в моей постели, грезилась в моей душе. Однажды — неужели верный инстинкт, таинственный вестник, не предупредил тебя об этом ребячестве, которым ты жила, да, конечно, жила, до такой степени был я для тебя «осязаемым присутствием»? — однажды (мы оба никогда не видали Италии) нас точно ослепили эти слова, сказанные об Альпгрюне: «Оттуда видна Италия». Мы отправились к Альпгрюну, воображая, что в панораме, которая видна с вершины горы, там, где должна бы начинаться Италия, вдруг исчезнет действительный и жесткий пейзаж, и в сказочной дали откроется голубая долина. В пути мы вспомнили, что границы не меняют почвы, а если бы даже и меняли, то так незначительно, что мы этого сразу бы и не заметили. Несколько разочарованные, мы смеялись сами над собой, над своим недавним ребячеством.

Но, достигнув вершины, мы остановились пораженные. То, что рисовало нам наше детское воображение, мы видели теперь в действительности. Рядом сверкали глетчеры. У наших ног потоки исчерчивали темно-зеленый дикий край Ангадина. Дальше — лиловые склоны, которые то открывали, то замыкали поистине голубое царство, — сверкающий путь к Италии. Имена уже были не те, они сразу стали гармоничными. Нам указывали на озеро Поскьяво, долину де-Виоля. Затем мы отправились к месту дикому и уединенному. И я испытал тогда действительно всю глубину печали, ибо ты была со мной только в реальности моего тяготения к тебе.

Я спустился несколько ниже, до того места, еще очень высокого, куда взбирались туристы. В уединенной гостинице есть книга, в которую они вписывают свои имена. Я вписал свое, а рядом — комбинацию букв, которая была намеком на твоё имя, ибо я не мог тогда обойтись без вещественного доказательства твоего духовного присутствия. Когда я вносил в эту книгу частицу тебя, мне казалось, что тем самым я снимаю с себя вечное бремя, каким ты отягощала мою душу. Помимо этого, у меня была надежда на то, что когда-нибудь я приведу тебя сюда и ты прочтешь эту строку, а потом ты подымешься вместе со мной еще выше, чтобы отомстить за меня всей этой печали. Мне не пришлось бы тебе об этом говорить, ты сама бы все поняла, или, вернее, ты вспомнила бы обо всем; и, подымаясь, ты дала бы мне вести себя, ты оперлась бы на мою руку, чтобы я сильнее почувствовал, что на этот раз ты действительно со мной. А я на твоих губах, которые хранят еще аромат твоих восточных папирос, нашел бы забвение. Мы бы кричали самые безрассудные слова, только ради того, чтобы кричать, и никто на всем огромном пространстве не услышал бы нас; одни только низкие травы вздрогнули бы от касания разреженного горного воздуха.

Подъем заставил бы тебя замедлить шаг и дышать тяжело, а я приблизил бы лицо, чтобы почувствовать твоё дыхание: мы были бы как двое безумных. Мы бы пошли и туда, где простерлось белое озеро рядом с черным, — нежное, как белый жемчуг, положенный рядом с черным. Как любили бы мы в глухой деревушке Ангадина! Мы не подпустили бы к себе никого, кроме проводников, этих рослых людей, чьи глаза отражают иное, чем глаза остальных людей, и кажутся иной «воды».

Но ты меня больше не занимаешь. Удовлетворение наступило до обладания. Любовь платоническая — и та знает пресыщение. Мне уже не хочется вести тебя в этот край, который ты вызываешь в моей памяти с такой трогательной верностью. Твой образ сохранил для меня лишь одно очарование; он заставляет меня вспомнить все эти имена; в них странная немецкая и итальянская нега: Сильс-Мария, Сильва-Плана, Крестальта, Самаден, Челерина, Жилье, Валь-де-Виоля.

XXII. Закат солнца на нашем внутреннем горизонте

Ум, как и природа, имеет свои красоты. Ни солнечный восход, ни лунное сияние, так часто будившее во мне безумие мечты и заставлявшее меня плакать, никогда не вызывали во мне такой страстной нежности, какую вызвало то меланхоличное зарево, что во время прогулки на склоне дня окрашивает в душе нашей столько же волн, сколько их сверкает на море, когда заходит солнце. Темнеет, мы ускоряем шаг. Больше, чем всадник, которого ошеломляет и опьяняет лёт любимого коня, дрожа от доверия и радости, мы отдаемся бурным мыслям. Охваченные нежным волнением, мы скачем по сумрачному простору и приветствуем дубы, напоенные мраком, и величавую ниву, как эпических свидетелей порыва, который увлекает нас и опьяняет. Подымая глаза к небу, мы не можем без крайнего волнения видеть в разрывах туч, ещё взволнованных прощанием с солнцем, таинственного отражения наших мыслей. Мы все быстрее и быстрее углубляемся в поля, и собака, которая следует за нами, лошадь, которая несет нас, или друг, что умолк, а иногда цветок у нас в петлице или трость, которую мы радостно вращаем в лихорадочных руках, принимают, во взгляде или в слезе, меланхолический дар

Нашего безумия.

XXIII. Как при луне

Наступила ночь, и я вошел в свою комнату, боясь оставаться во мраке, не видя больше ни неба, ни полей, ни сияющего на солнце моря. Но, открыв дверь, я увидел, что комната словно озарена заходящим солнцем. Я видел из окна дом, поля, небо и море, или, вернее, мне казалось, что я «вновь вижу их во сне»; нежная луна скорее напоминала мне о них, чем показывала, проливая на их силуэт бледное сияние, которое не рассеивало мрака, сгустившегося, словно забвение над их контуром. И я несколько часов простоял у окна, глядя во двор на немое, смутное, чарующее и побледневшее воспоминание тех вещей, что днем доставляли мне радость или страдание своими криками, своими голосами, своим жужжанием.

Боюсь я, любовь угасла на солнце забвения; но успокоенное, несколько бледное, такое близкое и тем не менее такое далекое и призрачное, точно в лунном свете, мое минувшее счастье смотрит на меня и безмолвствует. Молчание трогает меня, а отдаленности залеченного горя опьяняют меня грустью и поэзией. И я не в силах отвести глаз от этого лунного сияния в моей душе.

XXIV. В лесу

Нам нечего его бояться и есть чему у него поучиться — у могучего и миролюбивого племени деревьев, которое неустанно вырабатывает успокаивающие бальзамы. Среди племени этого мы проводим столько свежих безмолвных часов. В эту знойную вторую половину дня, когда свет — именно потому, что он слишком сильный — ускользает от нашего глаза, сойдем в одну из этих ложбин Нормандии, откуда легко поднимаются высокие и густые буки, кроны которых, словно тонкая, но упорная береговая линия, отстраняют этот океан света, удерживая лишь несколько капель его, мелодично звенящих в черной тишине леса. Нам неведома радость простираться над миром, словно на берегу моря, в равнине и в горах, но мы знаем счастье отрешенности от мира. И ограниченный со всех сторон стволами, которых не вырвешь с корнем, наш разум устремляется ввысь наподобие деревьев. Лежа на спине и запрокинув голову, мы можем из лона глубокого покоя следить за радостной подвижностью нашего ума, который подымается, не шелохнув ни одним листом к самым высоким ветвям, и опускается на краю тихого неба рядом с поющей птицей. У подножья деревьев застыли лужи солнечного света, и ветви время от времени задумчиво окунают в них и золотят свои концы. Все остальное замерло в истоме, молчит, погруженное в темное счастье. Устремленные ввысь деревья, всем своим странным для нас видом приглашают нас сочувствовать древней, вечно юной жизни, столь отличной от нашей.

Легкий ветер на одно мгновение нарушает их сверкающую и темную неподвижность, и деревья слабо дрожат; свет колеблется на их вершинах, тени сдвигаются у подножья.

Пти-Абевиль (Дьепп). Август 1895

XXV. Каштаны

Особенно любил я останавливаться под огромными каштанами, когда осень уже их позолотила. Сколько часов провел я в этих таинственных и зеленоватых гротах, глядя на журчащие у меня над головой каскады бледного золота, распространяющие прохладу и сумрак. Я завидовал малиновкам и белкам, ибо они жили в этих хрупких и глубоких зеленых павильонах, среди ветвей этих древних висячих садов, которые каждой весной уже в течение двухсот лет покрываются белыми и душистыми цветами. Чуть изогнутые ветви благородно склонялись к земле, словно вторые деревья, выросшие из ствола вершиной вниз. Бледная окраска немногих оставшихся листьев оттеняла обнаженные ветви, казавшиеся от этого особенно могучими и черными. И все они, сходясь к стволу, напоминали великолепный гребень, поддерживающий рассыпавшиеся нежные белокурые волосы.

Ревейон. Октябрь 1895

XXVI. Море

Море всегда будет приковывать к себе тех, у кого отвращение к жизни и влечение к тайне зародились раньше, чем пришло первое горе; влечение к морю — некое предчувствие того, что реальность бессильна горю помочь. Тех, кто нуждается в отдыхе, не испытав еще усталости, море утешит. Оно не носит на себе, как земля, следов человеческого труда и человеческой жизни. Ничто не держится на нем, все, что ни приходит, проходит скользя, а тот след, что оставляют за собой проплывающие суда, как быстро он сглаживается! В этом — великая чистота моря, какой не знает земля. И эта девственная вода нежнее затвердевшей земли, которую можно вырезать только лопатой. Ребенок, ступая по воде, оставляет в ней глубокий, ясно звучащий след; потом след стирается, и море вновь становится спокойным, как в первые дни существования мира. Тот, кто устал от земных путей, или тот, кто, еще их не испытав, уже угадывает, как жестоки они, трудны и вульгарны, — пленится бледными морскими дорогами, более опасными и более нежными, неверными и пустынными. Все в них таинственней, вплоть до тех громадных теней, что изредка проплывают по обнаженным полям моря, где нет ни домов, ни деревьев и где эти тени отбрасываются тучами — небесными деревушками, не имеющими определенных контуров.

Море не отделено, как земля, от неба; оно гармонирует с красками неба, оно отвечает на самые нежные из его оттенков. Оно сияет на солнце, и кажется, что каждый вечер умирает вместе с ним. А когда солнце исчезает — море продолжает сожалеть о нем, хранит частицу светлого о нем воспоминания перед лицом однотонно-темной земли. В этот момент на нем такие меланхолические и нежные отсветы, что сердце замирает, когда на него смотришь. Когда наступает почти полная ночь и небо над почерневшей землей совсем темнеет, море продолжает слабо и непостижимо мерцать. Благодаря какой сверкающей тайне, зарытой в его волнах?

Оно освежает наше воображение, не будит мыслей о человеческой жизни, но оно радует нашу душу, потому что оно так же, как и душа, — бесконечное и бессильное устремление, порыв, каждый раз прерываемый падением — вечная и нежная жалоба. Оно чарует нас, как музыка, и ничего не говорит нам о людях, но подражает вибрациям нашей души. Наше сердце, устремляясь вперед вместе с волнами, падая вместе с ними, забывает при этом о своих собственных падениях и находит утешение в интимной гармонии между собственной грустью и грустью моря, — в гармонии, где его судьба сливается с судьбой вещей.

Сентябрь 1892

XXVII. Морское

Слова, смысл которых я позабыл. Быть может, будет лучше, если все, что близко мне с давних пор, напомним о нем. Нужно вернуться в Нормандию и просто пойти к морю. Нет, лучше я пойду лесными тропинками, откуда время от времени видишь море и где в дыхании ветра чувствуется запах соли, смешанный с запахом влажных листьев и молока. Вопросов я задавать не буду. И ветер, и запах соли, и влажные листья великодушны к ребенку, которого знают со дня рождения; они сами вновь обучат его тому, что он забыл. Я буду идти по тропинке, обсаженной боярышником, — по тропинке, когда-то хорошо мне знакомой, я буду идти охваченный нежностью, опасаясь, что в порыве живой изгороди вдруг увижу незримую и пребывающую здесь подругу, безумную, вечно стонущую, престарелую печальную королеву — море. Вдруг увижу ее. Это случится в один из тех дремлющих под ослепительным солнцем дней, когда оно отражает бледно-синее небо. Паруса, белые как бабочки, будут держаться на неподвижной воде, словно в истоме от жары. А быть может, море будет бурным, желтым на солнце, как безмерное поле жидкой грязи, взрытое холмами, которые на таком далеком расстоянии будут казаться неподвижными, увенчанными сверкающим снегом.

XXVIII. Паруса в порту

В порту, узком и длинном, как водяное шоссе, замкнутом между невысокими набережными, сверкающими вечерними огнями, прохожие останавливались, чтобы посмотреть, словно на приехавших знатных иностранцев, на собравшиеся в нем суда. Безразличные к любопытству толпы, они хранили в сырой гостинице, где остановились на одну ночь, свою скрытую силу. Прочность форштевня говорила о предстоящих им странствиях столь же, сколь и повреждения его — о трудностях, уже испытанных на этих скользких дорогах, древних как мир и новых, как тот след, что их бороздит. Хрупкие и устойчивые, они с грустной гордостью смотрели в сторону океана, над которым они властвуют и в котором словно потеряны. Изумительная и мудрая сложность их снастей отражалась в воде, как точный и предусмотрительный ум, который погружается в неверную судьбу, что рано или поздно сломит его. Они так недавно ушли от жизни страшной и прекрасной, в которой завтра опять погрузятся, парусина была еще помята от ветра, вздувавшего их, их бушприт косо наклонился над водой, как наклонялось еще вчера все судно, и весь их корпус, от носа до кормы, еще хранил, казалось, таинственную и гибкую грацию струи, оставленной ими за собой.

Конец ревности

«Дай нам радость, просим мы этого или не просим, и отврати от нас страдания хотя бы мы их у тебя и просили». — Эта молитва мне кажется прекрасной и надежной. Если ты находишь, что нужно что-то в ней изменить, скажи прямо.

Платон

— Мое деревце, мой ослик, моя мать, мой брат, моя родина, мой боженка, мой маленький чужестранец, моя раковинка, мой милый — уходи, дай мне одеться, и мы встретимся с тобой на улице Бом, в восемь часов. Прошу тебя, не являйся в четверть девятого, — я очень голодна!

Она хотела закрыть за Оноре дверь своей комнаты, но он сказал: «Шею!» — и она тотчас же подставила свою шею с покорностью, с такой преувеличенной поспешностью, что он расхохотался:

— Нравится тебе это или нет, а твоя шея и мои губы, твои уши и мои усы, твои и мои руки связаны своеобразной дружбой. Я уверен — если бы мы даже друг друга и не любили, она бы все-таки не прервалась, точно так же, как дружба между горничной моей кузины Поль и моим лакеем. Несмотря на то, что мы с кузиной в ссоре, я не могу ему запретить ходить каждый вечер беседовать с ее горничной. Мои губы, по собственной воле и без моего на то согласия, устремляются к твоей шее.

Разделял их один шаг. Их взгляды вдруг встретились; каждый из них попытался внушить мысль о своей любви. Она стояла так с минуту, потом упала на стул, задыхаясь, словно после долгой ходьбы. И почти одновременно они восторженно произнесли:

— Любовь моя!

Она повторила угрюмым и печальным тоном, покачивая головой:

— Да, любовь моя!

Она знала, что он не устоит против этого легкого движения головы. Он бросился к ней, стал ее целовать и медленно сказал: «Злая!» — с такой нежностью, что глаза ее наполнились слезами.

Пробило половину восьмого. Он ушел.

Возвращаясь домой, Оноре повторял про себя: «Моя мать, мой брат, моя родина, — он остановился — да, моя родина, моя раковинка, мое деревце!» И он не мог удержаться от смеха, произнося эти слова, введенные ими в свой обиход, — эти слова, которые могут казаться пустыми, но для них столь значительные. Полагаясь, не раздумывая, на изобретательный и плодовитый гений своей любви, они скоро убедились, что получили от него в удел своеобразный, свой собственный язык, как народ, который получает оружие, игры, законы.

Пока он одевался, чтобы идти обедать, мысль его словно повисла на том моменте, когда он вновь ее увидит, как гимнаст, уже мысленно касающийся трапеции, к которой летит, или как музыкальная фраза, которая как будто настигает аккорд. Так и Оноре, уже в течение года, с раннего утра спешил дожить до часа, когда ее увидит.

И дни его, в сущности, состояли не из двенадцати или четырнадцати часов, а из четырех-пяти получасов, из ожидания их или воспоминания о них.

Оноре только что явился к принцессе д'Алериувр, когда вошла г-жа Сон. Она поздоровалась с хозяйкой дома, некоторыми гостями и Оноре. Если бы их связь была известна, можно было бы подумать, что они пришли вместе и что она под дверью выждала несколько минут, чтобы не входить одновременно. Но они могли бы не видеться два дня (чего в течение года ни разу с ними не случилось) и все-таки не испытывать того радостного удивления встречи, которое лежит в основе всякого дружеского приветствия, ибо они не в силах были прожить и пяти минут, не думая друг о друге, и для них не могло быть встречи, по той простой причине, что они, в сущности, никогда не расставались.

За столом, когда они обращались друг к другу, их манера разговаривать была какой-то торжественной — необычайной для любовников. Они являлись словно богами, которые, согласно легенде, жили преображенными среди людей, или двумя ангелами, братская непринужденность которых вызывает радость, но не умаляет взаимного уважения, внушаемого загадочностью их происхождения. Воздух насыщался не только запахом ирисов и роз, томно царивших на столе, но и ароматом той нежности, которая исходила от Оноре и Франсуазы. В иные моменты сладость этого аромата была острее, чем обычно, той остротой, какую природой не дано им было сдерживать, как не дано было этого горячему от солнца гелиотропу и омытой дождем сирени.

Итак, их нежность, не будучи тайной, была тем более таинственной. Каждый мог к ней приблизиться, но она была как те загадочные и беззащитные на руках любовницы браслеты, на которых начертано неведомое имя, неустанно предлагающее разгадать его смысл любопытным и разочарованным взорам, бессильным его постичь.

«Сколько времени буду еще я любить?» — спрашивал себя Оноре, вставая из-за стола. Он вспомнил, сколько было увлечений, которые вначале считал вечными, — сколь кратковременными они оказались! — и сознание, что эта любовь тоже когда-нибудь угаснет — омрачало его нежность.

При этом он вспомнил, как в это самое утро в церкви он молился: «Господи! Господи, смилуйся, дай мне любить ее всегда! Господи, об одном молю я тебя, ты всемогущ дай мне любить ее всегда!»

Теперь, когда он встал из-за стола в один из тех моментов, когда душа ступевывается и на первый план выступает переваривающий желудок, кожа радуется только что принятому душу и чистому белью, во рту папираса, глаз наслаждается созерцанием огней и голых плеч

— он повторял свою молитву более вяло, сомневаясь в том, что явится чудо и нарушит психологический закон его непостоянства, изменить который невозможно так же, как и физический закон земного притяжения.

Она увидела, что глаза его озабочены, встала и, проходя мимо него — они были несколько в стороне от других, — сказала ему тем своим плаксивым детским тоном, который всегда смешил его:

— В чем дело?

Он рассмеялся и сказал:

— Ни слова больше, не то я тебя поцелую, слышишь, поцелую на глаза у всех!

Сначала она рассмеялась, потом, чтобы посмешить его, снова капризно сказала:

— Да, да, нечего сказать! Ты ни капельки не думал обо мне!

А он, глядя на нее и смеясь, ответил:

— Как ты умеешь лгать! — И нежно добавил: «Злая! Злая!»

Она отошла от него и заговорила с другими. Оноре думал:

«Когда я почувствую, что мое сердце отрывается от нее, я постараюсь его удержать так осторожно, что она этого даже не заметит. Я скрою от нее новую любовь, которая в моем сердце заменит любовь к ней — скрою так же тщательно, как скрываю сейчас от нее плотские наслаждения, которые не она мне дарит». (Он бросил взгляд в сторону принцессы д'Алериувр.) И сам он мало-помалу позволит ей закрепить свою жизнь в другом месте иными привязанностями. Он не будет ревновать, сам укажет ей на тех, кого сочтет способными доставить ей больше блеска и радости. Чем яснее он представлял себе Франсуазу в образе иной женщины, к которой он будет тянуться только духовно — тем более такое раздвоение казалось ему возможным. Слова нежной дружбы, побуждающей отдавать наиболее достойным лучшее из того, чем обладаешь, вяло наворачивались на язык.

В это время Франсуаза, увидав, что уже десять часов, простилась и ушла. Оноре проводил ее до экипажа, неосмотрительно поцеловал — было темно — и вернулся.

Через три часа Оноре шел домой пешком вместе с де Бюивром, чье возвращение из Тонкина праздновали в этот вечер. Оноре расспрашивал его о принцессе д'Алериувр, которая овдовела приблизительно в то же время, что и Франсуаза, и была гораздо красивей ее. Оноре хотя и не был влюблен в принцессу, но был бы счастлив ею обладать, если бы получил уверенность, что Франсуаза не узнает и не будет огорчаться.

— В сущности, о ней ничего не знают, — сказал де Бюивр — по крайней мере, ничего не знали в то время, когда я уезжал, а после возвращения я еще никого не видел.

— В общем, в этот вечер не было ничего сколько-нибудь подходящего, — сказал в заключение Оноре.

— Да, пожалуй, ничего, — ответил де Бюивр; и так как Оноре был уже у своей двери, разговор должен был на этом прерваться. Но де Бюивр прибавил:

— За исключением госпожи Сон, которой вас, вероятно, представили. Если бы только у вас была охота... Но во мне она таких чувств не вызывает!

— Я впервые слышу то, о чем вы говорите, — сказал Оноре.

— Вы молоды, — ответил Бюивр, — вот был же сегодня тот, кто не отказал себе в удовольствии. Думаю, что это не подлежит сомнению: это молодой Франсуа де Гувр. Он уверяет, что она темпераментна, но говорят, — она не особенно хорошо сложена. Де Гувр не захотел продолжать. Я готов поручиться, что и сейчас она где-нибудь развлекается.

— Но ведь, овдовев, она живет в том же доме, что и ее брат, и едва ли она захочет, чтобы швейцар болтал, что она возвращается по ночам.

— Милый мой! От десяти до часу времени слишком достаточно! Но, в сущности, что мы знаем? А вот что касается часа ночи, — мы к нему как раз приближаемся. Вам пора идти спать!

Он сам позвонил; через минуту дверь открылась; Бюивр протянул Оноре руку, тот машинально простился с ним, вошел и сейчас же почувствовал безумное желание выйти, но дверь тяжело захлопнулась за ним и он очутился почти в темноте. Одна зажженная свеча нетерпеливо ждала его на полу у лестницы. Он не решился разбудить швейцара, чтобы тот открыл ему дверь, и поднялся к себе.

Наши поступки — наши добрые и наши злые ангелы — роковые тени, следующие за ними.

Бомон и Флетчер

Жизнь Оноре сильно изменилась с того дня, когда де Бюивр мимоходом бросил те несколько фраз, какие сам Оноре нередко произносил с полным безразличием; фразы эти он не переставал слышать днем и ночью. Не откладывая, он задал несколько вопросов Франсуазе, которая слишком любила его и слишком глубоко переживала его страдания, чтобы сколько-нибудь обидеться, она поклялась ему, что никогда не изменяла ему и никогда не изменит.

Когда он был подле нее, когда он держал в своих ее маленькие руки, повторяя стих Верлена: «Прелестные ручки, которые закроют мне глаза», когда он слушал, как она говорит: «Мой брат, моя родина, мой любимый», и когда ее голос тонул в бесконечной глубине его сердца, — он верил ей, хотя он и не чувствовал себя таким счастливым, как раньше — ему, по крайней мере, уже не казалось невозможным, что сердце его когда-нибудь вновь обретет счастье. Но когда он бывал вдали от Франсуазы, либо когда видел, что глаза ее сверкают огнем, зажженным другим человеком, когда уступал чисто физическому влечению, вызванному другой женщиной, и вспоминая, сколько раз он ему поддавался и лгал Франсуазе, не переставая ее любить, — он уже не находил абсурдным предположение, что и она лгала ему. Он почти убеждался: она могла любить и лгать и, прежде чем его узнать, бросалась к другому с той страстью, какая сейчас сжигала его и казалась ему ужасней страсти, зажженной им самим. Эту страсть он себе рисовал в воображении, которое все извращает.

Тогда он попробовал ей сказать, что изменил; сделал он это не из чувства мести и не желая причинить ей страдания. Он надеялся, что в ответ на его признание она тоже скажет ему всю правду, и особенно хотел откровенностью искупить грех своей чувственности.

Сказать ей о своей измене он попытался однажды вечером на прогулке в Елисейских полях. Он испугался, увидев, что она побледнела и без сил опустилась на скамью; без злобы, мягко, глубоко пораженная и раздавленная, она оттолкнула его руку. В течение двух дней он считал, что потерял ее, или, вернее, вновь обрел. Но этого произвольного, явного и грустного доказательства любви, которое она только что дала ему, Оноре было недостаточно. Будь у него даже уверенность в том, что она никогда никому кроме него не принадлежала, — неведомое страдание, которое сердце его познало в тот вечер, когда де Бюивр проводил до двери его дома, — не перестало бы причинять ему боль, если бы даже ему доказали, что оно беспричинно. Так, мы все еще дрожим при воспоминании об убийце, хотя и знаем, что видели его во сне; а у людей с ампутированной ногой всю жизнь болит нога, которой у них уже нет.

Напрасно днем он много гулял, утомлял себя верховой ездой, ездой на велосипеде, фехтованием, напрасно встречал он Франсуазу, провожал ее домой и вечером пил с ее чела, из ее глаз доверие, мир, медовую сладость, — едва придя домой, он начинал испытывать тревогу, немедленно ложился в постель, чтобы уснуть прежде, чем угаснет его счастье. Но он чувствовал, что слова Бюивра либо бесчисленные образы, которые он успел в своем воображении создать, — в любой момент встанут перед ним и тогда ему уже не заснуть. Эти образы еще не являлись ему, а он уже чувствовал их здесь, совсем близко, и, защищаясь от них, снова зажигая свечу, читал, пытался чтением отвлечь свое воображение.

Но внезапно он убеждался, что дверь его внимания, которую он держал, напрягая до изнеможения свои силы, неожиданно распахнулась и эти образы ворвались; затем она захлопнулась, и ему предстояло провести всю ночь в обществе этих страшных гостей. Теперь кончено! И в эту ночь, как в те другие, ему не заснуть ни на минуту! И он хватался за бутылку брома, выпивал три ложки и, уверенный в том, что заснет, даже испуганный мыслью, что уже не сможет делать ничего другого, как только спать, он снова принимался думать о Франсуазе с испугом, с отчаянием, с ненавистью. Пользуясь тем, что никто не знает о его связи, он хотел держать пари с мужчинами, что она добродетельна, хотел посмотреть, пойдет ли она на искушение, хотел спрятаться в комнате (он помнил, что как-то раз уже делал это ради забавы, когда был моложе) и все увидеть. Сначала он и виду не подаст, чтобы посмотреть, как назавтра, когда он ее спросит: «Ты никогда мне не изменяла?» — она ответит: «Никогда» все с тем же любящим видом. А быть может, она сознается, но падение ее будет вызвано им искусственно, и это окажется спасительной операцией, после которой любовь его исцелится от болезни, убивающей его (достаточно было взглянуть ему в зеркало, слабо освещенное свечой, чтобы убедиться в этом). Но нет! Образы все-таки вернуться и с какой страшной силой обрушатся на его бедную голову.

И тут он начинал вдруг думать о ней, о ее мягкости, нежности, о ее чистоте, и ему хотелось плакать оттого, что на один момент у него явилась мысль нанести ей оскорбление. Чего стоила уже одна эта мысль предложить подобную вещь своим товарищам по кутежам!

Вскоре он начинал чувствовать дрожь во всем теле, слабость, которая наступает за несколько минут до сна, вызванного бромом. Внезапно он спрашивал себя: «Как, я еще не спал?» Но, увидев дневной свет, он понимал, что целых шесть часов, сам того не чувствуя, находился во власти сна, вызванного бромом.

Он выжидал, когда прилив крови к голове ослабеет, затем вставал и тщетно пытался холодной водой и ходьбой вызвать на своем лице краски, чтобы Франсуаза не нашла его слишком некрасивым. Выйдя из дому, он шел в церковь и там, согбенный и усталый, изнемогая молился тому, кого два месяца назад просил даровать ему милость всегда любить Франсуазу, молился все с той же силой любви, с какой прежде уверенная в своей смерти хотела жить, а теперь, испуганная жизнью, выпрашивала смерть. Молил он и милости не любить больше Франсуазу, не любить ее слишком долго, не любить ее вечно, молил сделать так, чтобы он мог, наконец, не страдая, представить себе ее принадлежащей другому.

Тогда он вспоминал, как боялся ее разлюбить и как запечатлевал в своей памяти ее щеки, ее лоб, ее маленькие ручки, ее серьезные глаза. И внезапно представив, что нежный покой этих глаз нарушен тягой к другому, он хотел не думать больше о ее лице, и в результате видел его еще ясней, видел ее протянутые к нему губы, щеки, лоб, ее маленькие ручки, о, ее маленькие ручки, даже их! Ее серьезные глаза!

С этого дня сам, испуганный тем, что вступает на такой путь, он больше ни на шаг не отставал от Франсуазы, отслеживал ее,

сопровождал ее, когда она шла в гости, по часу ждал ее у дверей магазинов. Она позволяла ему это и так радовалась тому, что он всегда подле нее, что эта радость мало-помалу передавалась и ему, и медленно исполнила его доверия, такой уверенности, какой ни одно искусственное доказательство не даровало бы ему; так бывает с теми, кто страдает галлюцинациями; больного иногда удается исцелить, заставив их дотронуться рукой до кресла, до человека, находящегося там, где им мерещилось привидение.

Так пытался Оноре устранить те щели и тени, что служили местом убежища злым духам ревности и сомнения, осаждавших его каждый вечер. Сон к нему вернулся, и приступы боли повторялись реже и были не столь продолжительны, и, если в тот момент он призывал Франсуазу, нескольких минут ее присутствия было достаточно, чтобы успокоить его на всю ночь.

Мы должны довериться душе до конца; ибо такая прекрасная и такая притягательная вещь, как любовные отношения, может быть вытеснена и заменена только более прекрасной, более возвышенной.

Эмерсон

Салон г-жи Сон, урожденной принцессы де Галез Орланд, о которой шла речь в первой части этого повествования под именем Франсуазы, остается еще и сейчас одним из наиболее изысканных в Париже. В обществе, где титул герцогини ничем бы ее не выделил, ее буржуазное имя выделяется, как муха на лице, и взамен титула, утерянного ею в браке с г-ном Соном, она приобрела престиж добровольного отречения от почета, престиж, который в аристократическом воображении возносит столь высоко белых павлинов, черных лебедей и белые фиалки.

Г-жа Сон много принимала в этот и в минувшие годы, но ее салон был закрыт в течение трех предшествовавших лет, т. е. тех, что последовали за смертью Оноре де Танвр.

Друзья Оноре, которые радовались, замечая, что ему мало-помалу возвращалась его прежняя веселость, постоянно встречали его теперь в обществе г-жи Сон и объясняли его выздоровление этой связью, считая ее совсем недавней.

Несчастный случай в аллее булонского леса, в результате которого у Оноре обе ноги оказались переломанными, произошел через каких-нибудь два месяца после его полного выздоровления.

Это случилось в первый вторник мая; перитонит был обнаружен в воскресенье, а в понедельник в шесть часов вечера Оноре не стало. Но в промежуток между вторником, днем, когда это случилось, и вечером воскресного дня, он, единственный из всех, считал себя обреченным.

Во вторник, часов около шести вечера, после того, как наложили первую повязку, он попросил оставить его одного и принести ему визитные карточки тех, кто уже приходил справиться о его состоянии.

Еще утром, часов восемь тому назад, он прошел вниз по аллее Булонского леса. Он вбирал в себя и с радостью выдыхал свежий воздух; в глубине женских глаз, с восхищением следивших за ним, он открыл ту же глубокую радость, какая окрашивала сегодня солнце, тени, небо, камни, западный ветер и деревья, деревья величественные, как мужчина, и спокойные, как женщины, погрузившиеся в дремоту.

Он посмотрел на часы, повернул обратно и тогда... тогда-то это и случилось. Лошадь, приближения которой он не заметил, сломала ему обе ноги. Неизбежности этого он не чувствовал. В это мгновение он мог быть немного дальше или ближе, лошадь могла бы свернуть в сторону; если бы пошел дождь, он вернулся бы домой раньше и, не посмотрев на часы, не повернул бы обратно, а пошел бы к водопаду.

Но тем не менее все, что могло бы, казалось, и не произойти, все, что можно было принять за сон, все это было действительностью, и, напрягши всю свою волю, изменить этого он не мог. У него были сломаны ноги и повреждены внутренние органы. О, случай не представлял собой ничего необычного! Он вспомнил, что около недели назад за обедом у доктора С. говорил о К., которого точно так же изувечила мчавшаяся лошадь. Доктор на вопрос о состоянии здоровья К. ответил: «Его дело плохо». Оноре не удовлетворился этим, стал расспрашивать о ране, и доктор ответил с видом важным и меланхоличным: «Но тут дело не в одной только ране; важно все в целом; его сыновья доставляют ему огорчения; он потерял прежнее свое положение; нападки газет были для него ударом. Я хотел бы, чтобы мое мнение оказалось ошибочным, но, по-моему, его дело скверно». А затем, так как сам доктор чувствовал себя отлично, так как Оноре знал, что Франсуаза любит его все больше и больше, что свет принял их связь и преклоняется пред их счастьем не менее, чем пред величием характера Франсуазы; так как, наконец, жена доктора С., взволнованная предстоящим печальным концом и заброшенностью К., не позволяла, из соображений гигиенических, ни себе, ни своим детям думать о грустных событиях и присутствовать на похоронах, все повторили в последний раз: «Бедный К., его дело скверно», и выпили по последнему бокалу шампанского; и по удовольствию, какое они при этом испытывали, они заключили, что «их дела» отличны.

Но увы, здесь было совсем не то! Оноре, чувствуя себя теперь поглощенным мыслью о своем несчастье, как часто он бывал поглощен мыслью о несчастье чужом, уже не мог отнестись ко всему, как тогда. Он чувствовал, как ускользает из-под ног почва — здоровье, почва, на которой произрастают наши самые высокие решения и наши радости, самые светлые, подобно тому, как в черной и влажной земле укрепляют свои корни дубы и фиалки. И он спотыкался в себе самом на каждом шагу. Говоря о К. на том обеде, доктор сказал: «Еще до несчастного случая, после того, как начались газетные нападки, я встречал К.; он пожелтел, глаза у него впали, вид у него был отвратительный». И доктор провел рукой, славившейся своей ловкостью и красотой, по холеной бороде, и каждый с удовольствием представил себе свой собственный здоровый, прекрасный вид. Теперь, глядя в зеркало, Оноре пугался, что так «пожелтел», и своего «отвратительного вида». И сейчас же мысль, что доктор скажет о нем столь же равнодушно то же, что и о К., испугала его. Даже знакомые, которые придут к нему, исполненные сострадания, скоро отвернутся от него, как от чего-то, для них губительного; в конце концов они подчинятся протесту своего цветущего здоровья, желания быть счастливым и жить. Затем он стал думать о Франсуазе, и, согнув плечи, помимо воли опустив голову, понял с бесконечной и покорной печалью, что нужно от нее отказаться. Он почувствовал, каким жалким стало его тело; и ему захотелось плакать.

Вдруг он услышал стук в дверь. Ему подали визитные карточки, которые он просил принести. Он был уверен в том, что придут справиться о его здоровье, ибо знал, что положение его серьезно, но все-таки никак не ожидал такого количества карточек и испугался, увидев, что столько людей, которые едва-едва его знали, могли побеспокоиться разве только в случае его свадьбы или похорон. Это была целая гора карточек, и лакей изо всех сил старался, чтобы они не посыпались с подноса. Но когда все эти карточки были около него — гора эта показалась до смешного маленькой, во много раз меньше, чем стул или камин. И вдруг он испугался еще больше и почувствовал себя до такой степени одиноким, что захотел развлечься: принялся лихорадочно читать имена; одна, две, три, ах, что это? Он вздрогнул и посмотрел еще раз: «Граф Франсуа де Гувр». Конечно, он должен был ждать, что г-н де Гувр придет узнать о его здоровье, но он давно

уже не думал о нем, и тотчас же ему пришла в память фраза Бюивра: «Вот был же сегодня тот, кто не отказал себе в удовольствии! Это — молодой Франсуа де Гувр. Он уверяет, что она темпераментна. Но, говорят, она не особенно хорошо сложена. Де Гувр не захотел продолжать». И вновь, переживая всю прежнюю боль, которая в один миг поднялась со дна на поверхность его сознания, он подумал: «Если я обречен — теперь я этому только радуюсь. Быть неподвижным на протяжении стольких лет, все то время, что ее не будет около меня, видеть ее с другими! И как ей любить меня — безногого!?» Он вдруг остановился. «Ну, а после моей смерти?...»

Ей было тридцать лет. Наступил час... тот сказал, что «она темпераментна»... «Я хочу жить, я хочу жить и хочу ходить, хочу следовать за ней повсюду! Хочу быть красивым, хочу, чтобы она любила меня!»

В этот момент ему стало страшно; он слышал свое свистящее дыхание; он почти не мог дышать — задышался. Пришел доктор. Оказалось, что это легкий приступ астмы. Доктор ушел, он стал еще печальней; он бы предпочел, чтобы это оказалось чем-нибудь более серьезным, и хотел, чтобы его жалели. Ибо он чувствовал, что то, другое, — серьезно, чувствовал, что должен умереть. Теперь он вспоминал все физические страдания своей жизни и сокрушался; никогда любившие его люди не жалели его на том основании, что он был нервным. В страшные дни наступившие для него после его ночного возвращения домой с Бюивром, — в те дни, когда он одевался в семь часов утра, предварительно промаршировав целую ночь по улицам — его брат, просыпавшийся на четверть часа по ночам после чересчур обильного ужина — говаривал ему:

— Ты слишком прислушиваешься к себе; и со мной бывает, что я не сплю по ночам. К тому же это только кажется, что совсем не спишь, на самом деле все-таки спишь.

Это верно, что он слишком прислушивался к себе; всегда он слышал зов смерти — зов, который словно подтачивал его жизнь. Теперь астма его усиливалась. Он не мог перевести дыхание и делал мучительные усилия, чтобы дышать. И он чувствовал, что завеса, скрывающая от нас жизнь, раздвигается, обнажая притаившуюся смерть, он чувствовал весь ужас того, что значит жить и дышать. Затем он мысленно перенесся к тому моменту, когда она утешится. Кто же будет тот другой? Неизбежность этого момента сводила его с ума от ревности. Он мог бы этот момент предотвратить, если бы остался жить, но он умирает, и что же? Она скажет, что уйдет в монастырь, а когда он умрет — она раздумает. Нет! Лучше знать и не дать себя дважды обмануть. Кто? Гувр, Аериувр, Бюивр, Брейв. Он всех их видел перед собой и, стискивая зубы, чувствовал страшное бешенство, которое должно было в этот момент исказить его лицо. Затем он как-то успокоился. Нет, только не эти! Только не жуир-кутила! Это должен быть человек, который будет ее действительно любить. Почему мне не хочется, чтобы это был кутила? Безумие с моей стороны задавать себе этот вопрос! Это так естественно! Я хочу, чтобы она была счастлива потому, что я люблю ее... люблю! — Нет, это не то! Вся суть в том, что я не хочу, чтобы возбуждали ее чувственность, чтобы доставляли ей больше наслаждения, чем доставлял я. Я хочу, чтобы ей давали любовь, но не хочу, чтобы ей доставляли наслаждение. Ей надо выйти замуж, ей надо хорошо выбрать... Все-таки это будет грустно.

И к нему вернулось одно из его детских желаний — желаний, знакомых ему тогда, когда он был семилетним мальчиком и ложился спать в восемь часов. Когда его мать в какой-нибудь из дней должна была ехать на бал — он умолял ее одеться до обеда и куда-нибудь уехать, потому что не мог перенести мысли, что в то время, как он пытается уснуть, в доме собираются уезжать на бал. И чтобы доставить ему удовольствие и успокоить его, его мать, уже одетая, декольтированная, приходила проститься с ним в восемь часов и уезжала к подруге, где оставалась, пока не наступало время ехать на бал. И только в эти печальные для него дни, когда его мать уезжала на бал, мог он заснуть, огорченный, но спокойный.

Ту же мольбу, с которой он обращался к своей матери, ту же мольбу, обращенную к Франсуазе, нашептывали теперь его губы. Он готов был просить ее выйти замуж теперь же, чтобы он мог, наконец, уснуть вечным сном удрученный, но спокойный, и не задумываясь над тем, что произойдет после того, как он уснет.

В ближайшие дни он попробовал говорить с Франсуазой, которая, как и врач, не считала его обреченным и мягко, но непреклонно отвергла предложение Оноре.

Они привыкли говорить друг другу только правду, и поэтому, когда Франсуаза сказала Оноре, что он будет жить, — он почувствовал, что она верит этому, и мало-помалу внушил эту веру себе.

Если я должен умереть, я не буду больше ревновать, когда буду мертв. Но пока я жив? О да, я ревновать буду, пока не умрет мое тело! Но раз я не могу думать, что кто-то другой даст ей наслаждение, раз ревнует только мое тело, — после смерти, когда тело исчезнет, когда мне станет безразлично все земное, когда я не буду уже безумно желать тела, сильнее буду любить душу, — тогда я перестану ревновать. Да, я действительно буду любить. Я не постигаю еще, как это будет, не постигаю теперь, когда мое тело еще живет и протестует, но ведь бывали у нас часы, когда я сидел с Франсуазой, и в беспредельной нежности, лишенной вожделения, находил успокоение своим страданиям и своей ревности. Расставаясь с ней, я буду испытывать горе, но то горе некогда приближало меня еще больше к самому себе, то горе, которое открыло мне таинственного друга — мою душу, то спокойное горе, благодаря которому я почувствую себя более достойным предстать пред Богом. Я почувствую это горе и не буду болеть той ужасной болезнью, которая терзала меня так долго, не возвысив меня морально, терзала, как физическая боль, которая унижает. Я избавлюсь от нее, избавлюсь благодаря моему телу, благодаря желанию моего тела. Да, но до тех пор что будет со мной — калекой со сломанными ногами, когда я стану объектом насмешек для всех, кто сможет «не отказаться себе в удовольствии», сколько им заблагорассудится на глазах у калеки, который им будет уже не страшен!

В ночь с воскресенья на понедельник ему снилось, что он задышается. Ему казалось, что кто-то сдавливает ему грудь; ему казалось, что на груди его лежит что-то безмерно тяжелое. Он просил пощады. Он задышался. Вдруг он почувствовал, что ему дышать легко, и он подумал: «Я умер!»

И он видел, как над ним подымается все, что так долго душило его: сначала он думал, что это был образ Гувра, затем — его подозрения, затем — вожделение, затем — мысль о Франсуазе. Это «нечто», как облако, принимало все новые и новые формы, росло, росло не переставая, и теперь он не уяснял себе, каким образом «нечто», которое должно было быть огромным как мир, могло лежать на нем, на его маленьком теле слабого человека, на его бедном человеческом сердце, лишенном энергии, и каким образом эта безмерная тяжесть

его не раздавила. И он понял также, что он был раздавлен и что жизнь, какую он вел, была жизнью человека раздавленного. А то безмерно огромное, что давило на его грудь всей тяжестью мира, — он понял — была его любовь!

Потом он повторил: «Жизнь раздавленного!» и вспомнил, что в тот момент, когда его опрокинула лошадь, он подумал: «Я буду раздавлен!» Он вспомнил свою прогулку, вспомнил, что должен был в то утро завтракать с Франсуазой, и снова вспомнил о Франсуазе. И он спрашивал себя: «Не любовь ли моя давила на меня? А если не любовь, то что? Быть может, мой характер? Я? Жизнь?» Затем он подумал: «Нет, когда я умру, я не избавлюсь от моей любви, но я избавлюсь от моего вождения, от моей чувственной ревности», и тогда-то он сказал: «Господи, пошли мне этот час, пошли скорее мне этот час, чтобы я узнал любовь совершенную!»

И в воскресенье вечером обнаружился перитонит, в понедельник утром, часов около десяти, он начал бредить, хотел видеть Франсуазу, звал ее, глаза его горели: «Я хочу, чтобы и твои глаза горели, я хочу доставить тебе наслаждение, какого никогда не доставлял... я хочу тебе...» Потом вдруг он бледнел от ярости. «Я знаю, отчего ты не хочешь, я знаю, с кем ты была сегодня утром, и я знаю, что он хотел послать за мной, посадить меня за дверь, чтобы я видел вас, лишенный возможности броситься на вас, раз у меня нет больше ног. Но я убью его, убью тебя, а еще раньше убью себя! Смотри! Я убил себя». И он без сил падал на подушку. Мало-помалу он успокоился, продолжал думать о том, за кого бы она могла выйти замуж после его смерти, но перед ним вставали все те же мучившие его образы, которые он гнал от себя, — образы Франсуа де Гувра, Бюивра.

В полдень он причастился. Доктор сказал, что он не доживет до вечера. Он быстро терял силы, не мог уже принимать пищи, почти не слышал. Но размышлять он мог и не говорил ничего, чтобы не огорчать Франсуазу, которая была убита горем, — он думал о ней, представлял себе ее тогда, когда он уже ничего не будет о ней знать, когда она уже не сможет его любить.

Имена, которые он произносил машинально еще утром — имена тех, кто, быть может, будет обладать ею, опять стали приходить ему на память в то время, как глаза его следили за мухой, которая подлетала к его пальцу, точно хотела коснуться его, затем улетала и снова возвращалась, но не дотрагивалась до него. И опять он вспомнил Франсуа де Гувра и в то же время думал: «Может быть, муха коснется простыни? Нет, все еще нет!» Тут он вышел вдруг из оцепенения: «Как? И то и другое мне кажется одинаково важным? Будет ли Гувр обладать Франсуазой, коснется ли муха простыни? О, обладание Франсуазой чуточку важнее!» Но ясность, с какой он видел пропасть, отделявшую одно событие от другого, показывала ему, что оба события, в сущности, не очень его трогали. И он сказал про себя: «Как мне это безразлично! Как грустно!» Затем он заметил, что «как грустно» было произнесено им по привычке и что, изменившись окончательно, он уже не огорчался тем, что изменился. Бледная улыбка проползла по его губам. «Вот, — сказал он, — моя любовь к Франсуазе. Я не ревную больше. Значит, смерть совсем близка. Не все ли равно, раз это было нужно для того, чтобы я, наконец, почувствовал к Франсуазе подлинную любовь».

Но тут, подняв глаза, он увидел Франсуазу, слуг, доктора, двух старушек-родственниц; все они молились. И он почувствовал, что любовь, очищенная от эгоизма и от чувственности, любовь, которую он хотел видеть в себе такой тихой, такой глубокой, простиралась на старушек-родственниц, на слуг, на самого доктора, в такой же мере, как и на Франсуазу. Питая к ней ту же любовь, какую ему внушали все живые существа, он не мог уже питать к ней иной любви.

Обливаясь слезами в ногах его постели, она шептала самые прекрасные из старых, знакомых ему ласкательных прозвищ: «Моя родина, мой брат!» Но, не имея ни желания, ни силы разочаровывать ее, он улыбался и думал, что его «родиной» была уже не она, а небо и вся земля. Он повторял в своем сердце: «Мои братья», и если смотрел на нее больше, чем на остальных, то только из жалости, ибо глаза его, которые скоро закроются и не будут больше плакать, видели поток слез, струившихся по ее лицу. Но он любил ее такой же любовью, как доктора, старушек-родственниц и слуг. И это было концом ревности.

Примечания

1 Ах, какие они идиоты! (фр.)

2 Первое издание книги было иллюстрировано Мадлен Лемер. (Примеч. ред.)

3 Мнения, приписываемые здесь двум знаменитым героям романа Флюбера, разумеется, не являются мнениями автора.

4 А особенно после Мориса Баресса, Анри де Ренье, Роберта де Монтестье Фезенсак.

5 «Отплытие на Киферу» — картина Ватто. (Прим. ред.)